

ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА», МОСКВА

№ 20 МАЙ 1988



ВОСТОЧНЫЕ
МОТИВЫ

ФЕНОМЕН
АЛЬФРЕДА
ШНИТКЕ

ПОЭТ
И
ГЕНЕРАЛ



БУДЕМ ДОБРЕЕ



81

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ОГОНЕК

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан
1 апреля
1923 года

№ 20 (3173)

14—21 МАЯ

© Издательство «Правда», «Огонек», 1988.

Главный редактор

В. А. КОРОТИЧ.

Редакционная коллегия:

**Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ,
В. В. ГЛОТОВ**

(ответственный
секретарь),

Л. Н. ГУЩИН

(первый заместитель
главного редактора),

Н. А. ЗЛОБИН,

В. Д. НИКОЛАЕВ

(заместитель
главного редактора),

Ю. В. НИКУЛИН,

А. Г. ПАНЧЕНКО,

А. Б. СТУКОВ,

С. Н. ФЕДОРОВ,

Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО,

В. Б. ЧЕРНОВ,

В. Б. ЮМАШЕВ.

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Фото Игоря ГАВРИЛОВА (см. в номере материал «Не надо ставить капканы»)

Оформление Н. П. КАЛУГИНА
при участии Г. Н. СИДОРОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА

Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп.,
на полгода — 10 руб. 38 коп.,
на квартал — 5 руб. 19 коп.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27;
Отделы: Публицистики — 212-21-88; Между-
народный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69;
Искусства — 212-15-39; Морали и писем —
212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных
приложений — 212-22-13, 212-23-07.

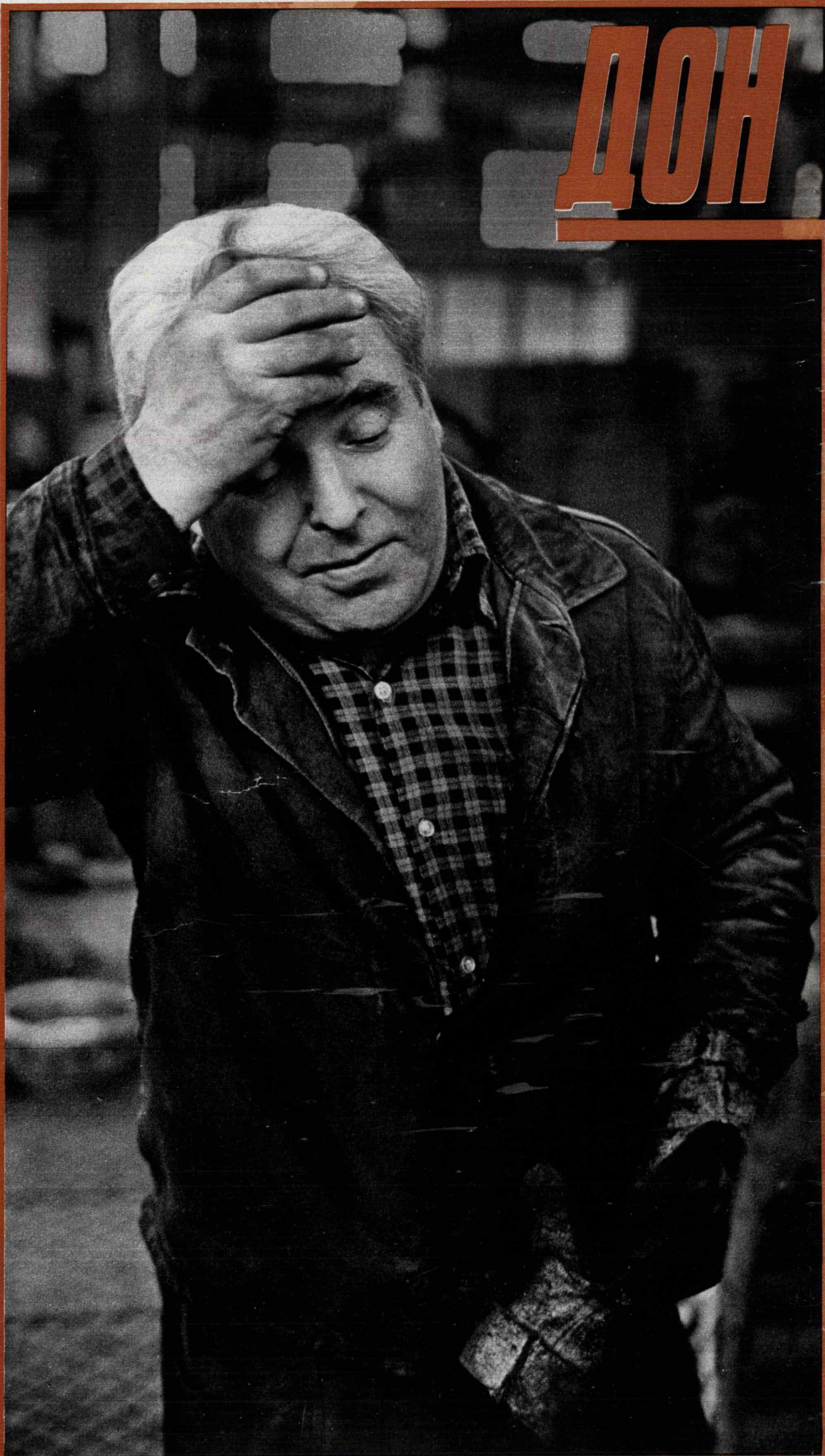
Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Сдано в набор 22.04.88. Подписано к печати
10.05.88. А 00339. Формат 70×108½. Глубокая
печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Усл.
кр.-отт. 16,80. Тираж 1 780 000 экз. Заказ № 2291.

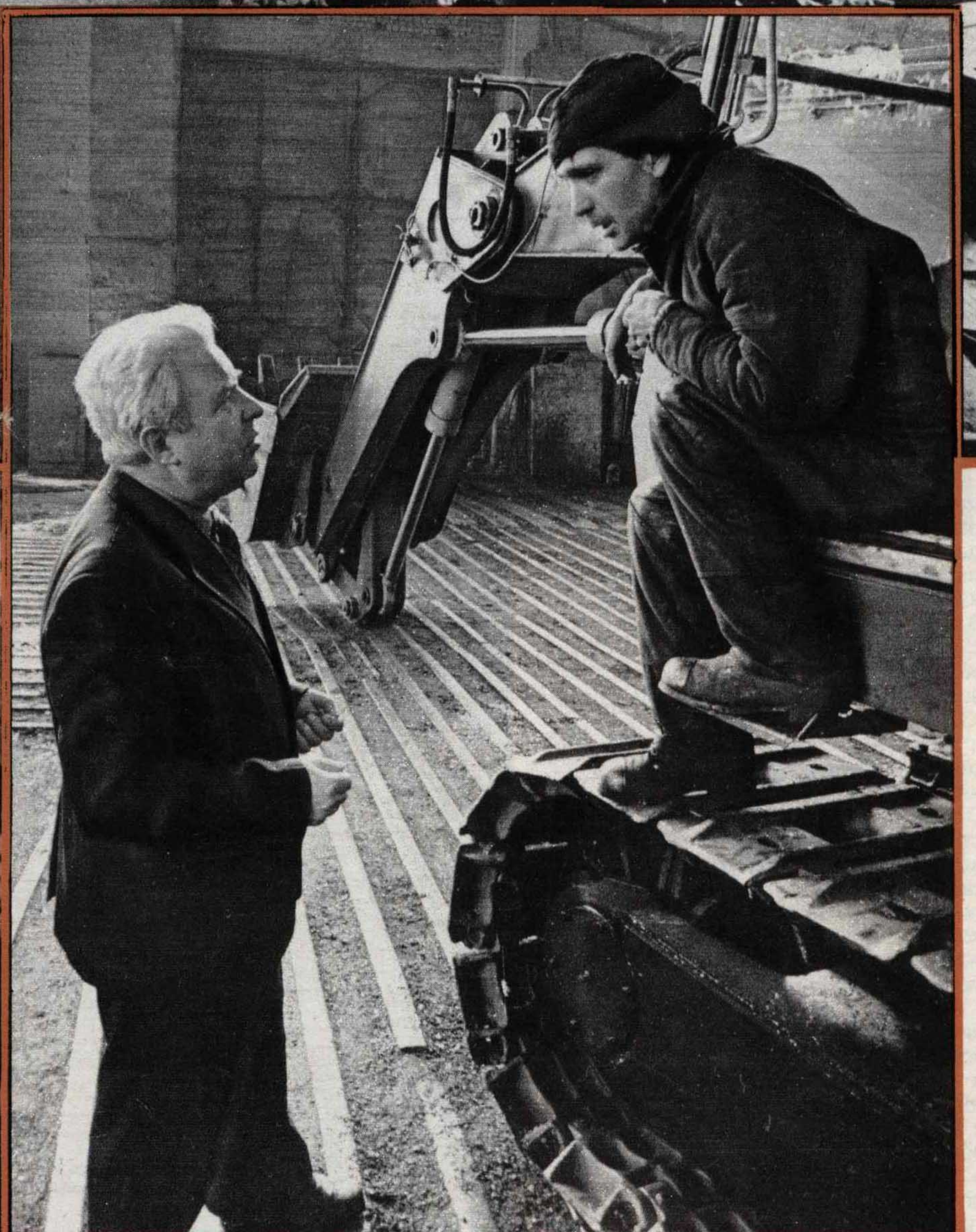
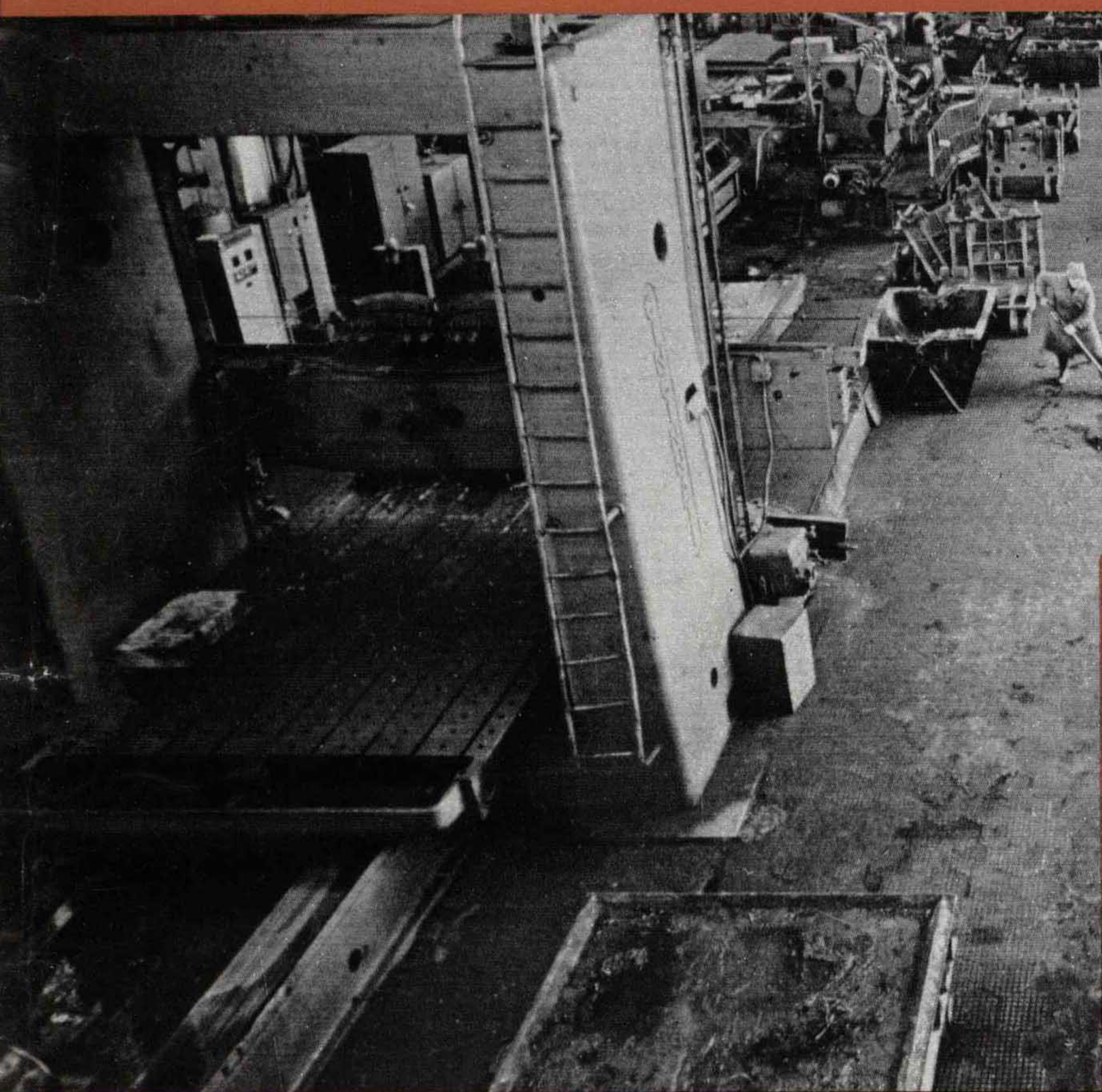
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина издательства ЦК
КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица
«Правды», 24.

**Адрес редакции: 101456, ГСП,
Москва, Бумажный проезд, 14.**

ДОК



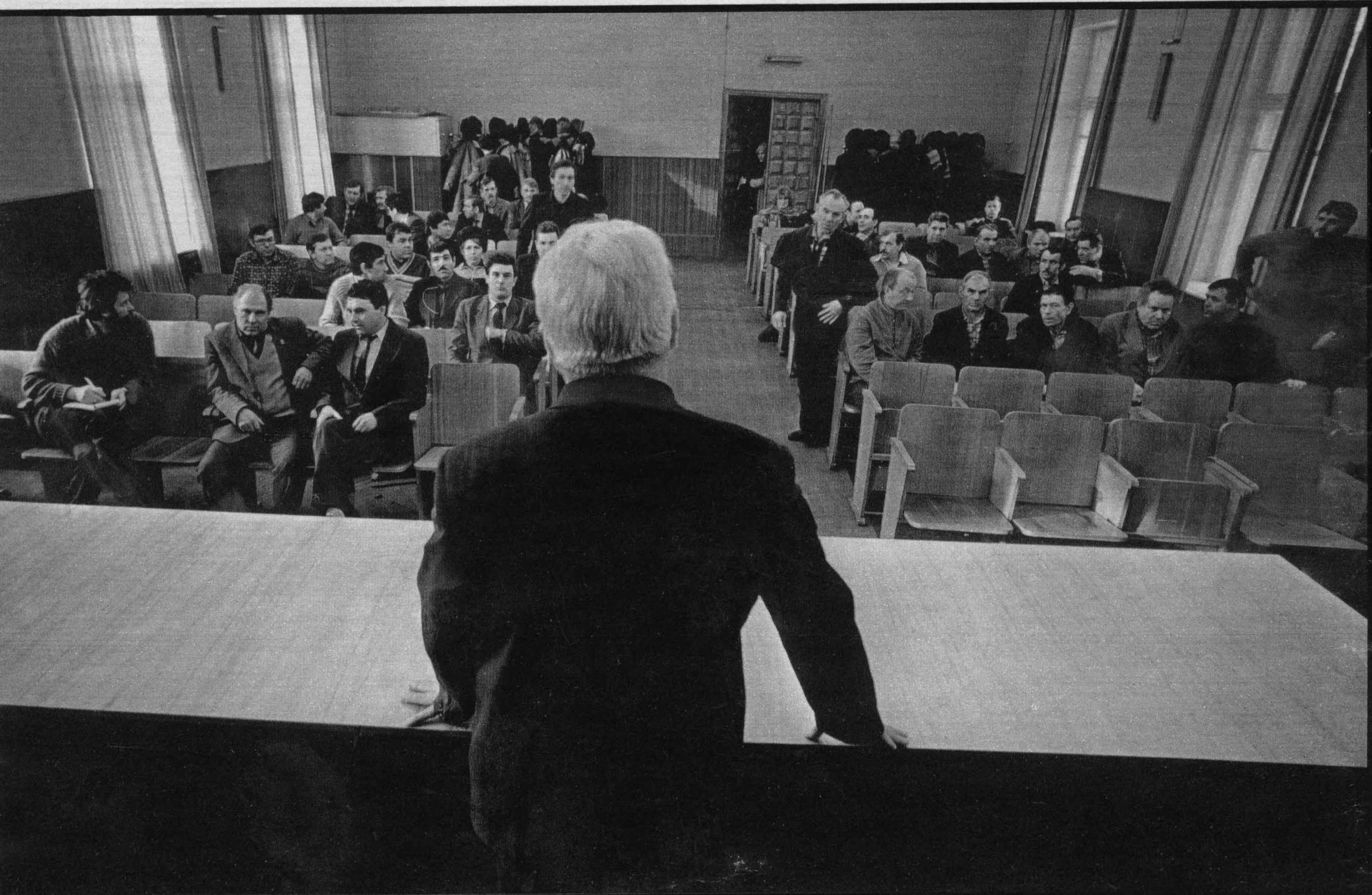
КИЖОТ ИЗ ВОРОНЕЖА



ЛИЧНО Я УБЕЖДЕН, ЧТО НЕ НАРОДИЛСЯ НА СВЕТ БОЖИЙ ЕЩЕ ТОТ НАЧАЛЬНИК, КОТОРЫЙ КРИТИКУ СНИЗУ ПРИЕМЛЕТ ВОСТОРЖЕННО И ОДНОЗНАЧНО. ПРИ ЗАМЕЧАНИИ СВЕРХУ, БЫТЬ МОЖЕТ, ОН ЕЩЕ СДЕЛАЕТ ВИД, ЧТО ОНО ЕМУ «ВО КАК ПОЛЕЗНО И НЕОБХОДИМО!». НО СНИЗУ, ИЗВИНИТЕ, НЕ ПОВЕРЮ, ЧТОБЫ ЛИЦО, ОБЛЕЧЕННОЕ ВЛАСТЬЮ, БЫЛО СЧАСТЛИВО «ЖУРЧАНИЮ ВСПЯТЬ». «КТО МЕНЯ ПОКРИТИКУЕТ, ТОТ ПОТОМ И ЗАКУКУЕТ!», — МОЛВЯТ В НАРОДЕ ПРО СМЕЛЬЧАКОВ, ОТВАЖИВАЮЩИХСЯ КРИТИКОВАТЬ НАЧАЛЬСТВО.

Виталий ЗАСЕЕВ,
Павел КРИВЦОВ (фото),
специальные
корреспонденты
«Огонька»

Мой собеседник, один из лучших токарей Воронежского экскаваторного завода имени Коминтерна, Василий Андреевич Шишлов, похоже, из тех, кто искренне верит в неуязвимость и жизненность критики снизу. Верит и то и дело испытывает себя ею на прочность. За свежим примером далеко ходить не надо. В день, когда я переступил порог 19-го



механического цеха, где без малого сорок лет трудится Василий Андреевич, одна из центральных газет опубликовала его статью под недвусмысленным названием «Явочным порядком...». В ней кадровый рабочий, коммунист с двадцатипятилетним стажем «поддавал перца» заместителю директора завода по экономическим вопросам Ю. Антонову, начальнику отдела труда и заработной платы В. Никулину, председателю профкома Е. Меркулову и начальнику цеха, где сам работает, С. Моисееву. Причем в выражениях не стеснялся. Высокомерие начальства называл высокомерием, наплевательское отношение к нуждам рабочего человека — соответственно, желанию руководить «кейно-административными методами» более обтекаемых синонимов также не подбирал.

— Несколько месяцев назад в нашем цехе заговорили о пересмотре норм, — комментируя свое выступление в газете, пояснял В. Шишлов, — хотя год назад их уже «ужимали». В связи с этим у рабочих и возник вопрос, правомочна ли администрация сама, в явочном порядке, вводить новые расценки, снижая их «чоком» на двадцать процентов. Ведь в Законе о государственном предприятии сказано, что оно сначала устанавливает технически обоснованные нормы труда и по мере улучшения его организации, проведения соответствующих технических мероприятий пересматривает их. Сказано яснее ясного. А что получается у нас? Ни о «технических мероприятиях», ни тем более о серьезном оснащении говорить не приходится. Работаем в основном на устаревшем, изношенном оборудовании. Иным станкам лет, как и мне, за пятьдесят. Вот и решили мои това-





рищи, посоветовавшись, написать об этом председателю обкома профсоюза рабочих тяжелого машиностроения Н. Копылевскому. Однако на заводе этот шаг расценили как жалобу. Как, дескать, посмели...

Акция начальства многих тогда возмутила. На собрании осуждали ее смело. Не заглядывая в бумажку, не смягчая накала, выступали лучшие токари Н. Бухтояров, Н. Грязев, бригадир расточников В. Золотых... Выступать-то выступали, но статью в газету написать осмелился только В. Шишлов.

«У него что, мохнатая лапа есть?» — спрашивали на заводе одни.

«Возможно, раз начальства не боится», — отвечали другие.

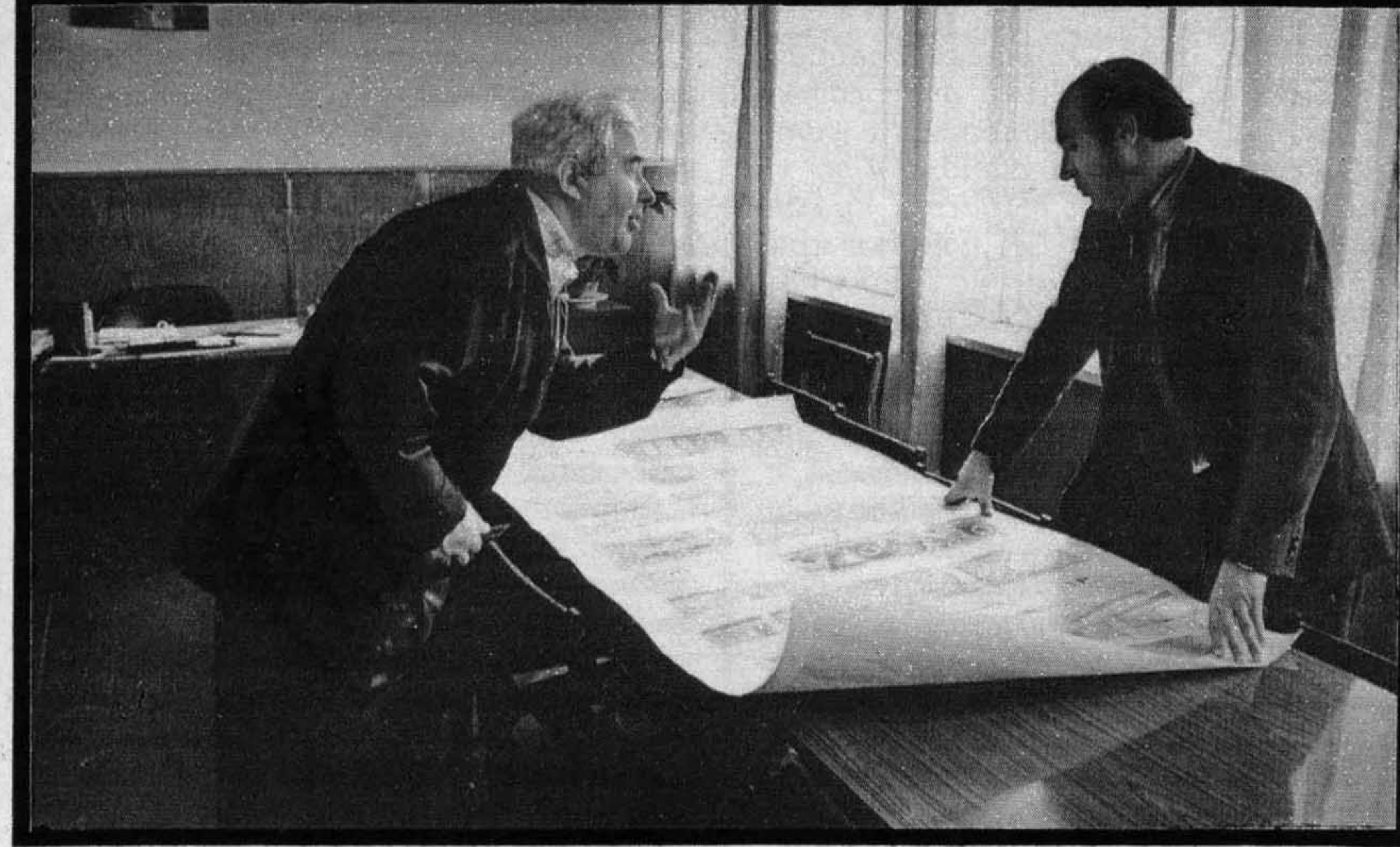
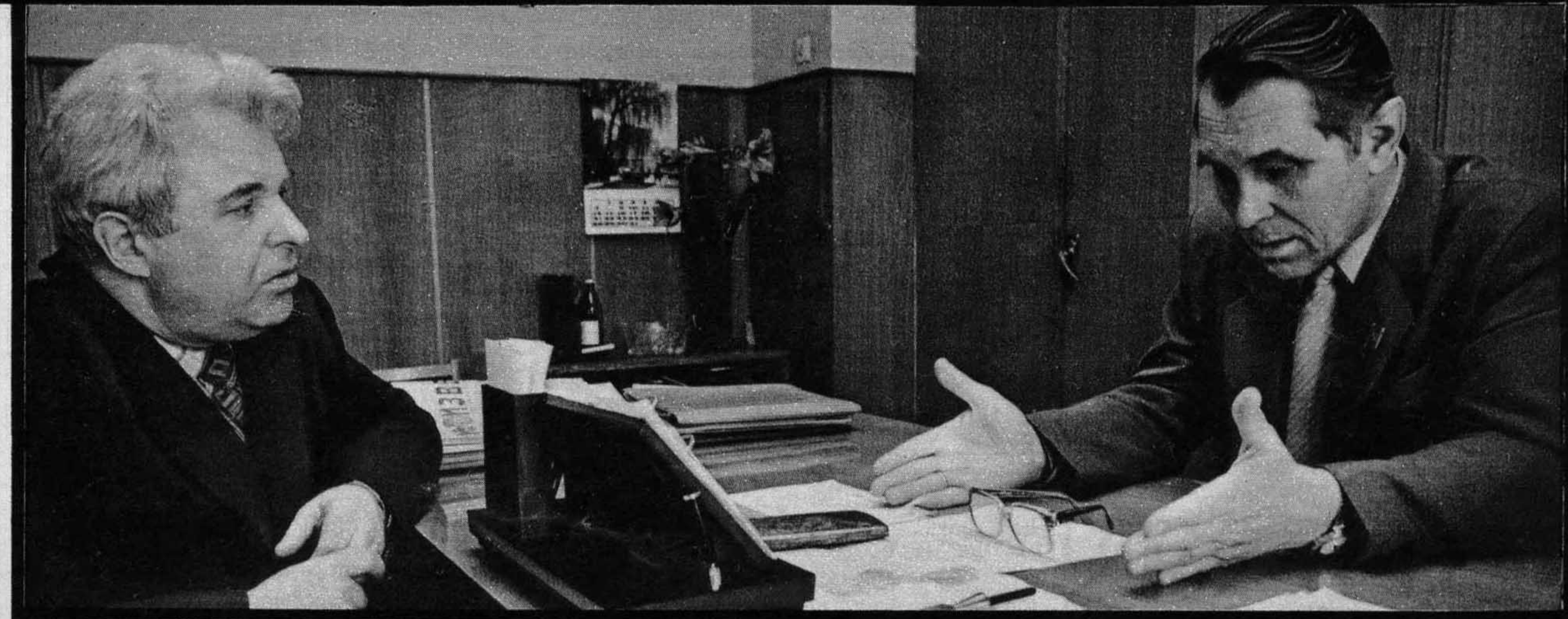
А В. Шишлов, прослышав про все эти разговоры, только посмеивался про себя. На мой вопрос о природе его смелости ответил словами Сервантеса: «Главное... «жить в ладу со своей совестью, и пускай себе люди говорят, что им вздумается». (Тогда-то и родилась у меня идея очерк о нем назвать «Дон Кихот из Воронежа». И хотя Василий Андреевич больше похож на Санчо Пансу, однако поступками своими, конечно же, сродни неугомонному идалго Ламанчскому.)

— Честность в Риме восхваляется, но бедствует, — попробовал я шуткой поддержать его реплику.

— Лично я ни дня не бедствовал, — несколько прямолинейно истолковав древнего поэта-сатирика, — возразил В. Шишлов. — Кто мне что может сказать, тем более сделать? За место свое не держусь, хотя дорожу им безмерно. И тем не менее «в кулачок» о недостатках говорить не намерен. Особенно теперь, когда в слове правды такая острая потребность.

На заводе его в открытую называют «рабочим директором» и, когда назревший вопрос начинается «пробуксовывать», идут к В. Шишлову. Знают, не побоятся Василий Андреевич сказать правду начальству в глаза. И возразить аргументированно сумеет. И контрдоводы неоспоримые найдет. И все это деликатно, без крика, без ругани, без упоминания «всех святых и матерей».

...Третий цех на экскаваторном в стороне от девятнадцатого находится. Бились как рыба об лед рабочие участка цветного литья в поисках истины, доказывали руководству, что кожухи плавильных печей давным-давно прогорели и требуют незамедлительного ремонта. Но «воз и поныне был бы там», если бы за дело не взялся В. Шишлов. Василий Андреевич изучил положение, убедился, что «латанием дыр» делу не



поможешь, и пошел в партком. О чем уж он там говорил, долго ли спорил, только через неделю в «трóйку» зачастили ремонтники. А когда работу закончили, Шишлова первым пригласили, чтобы он лично в приемке объекта участвовал. Василий Андреевич не заставил себя долго ждать. Посмеиваясь над своей неуклюжестью, облазил «объект», что называется, «от и до», убедился в отсутствии халтуры и, словно на правительственном приеме, каждому ремонтнику пожал руку. Пожал, раскланялся и с достоинством отправился в партком выражать личную благодарность и удовлетворение.

— Уж что-что, а доброе отметить Шишлов никогда не забудет, — говорил мне секретарь парткома завода В. Вол-

гин. — Это у него в крови, и люди знают об этом.

Беседа с Волгиным, попросил я партийного секретаря назвать самую яркую черту характера В. Шишлова. Думал услышать о достоинствах, не требующих подтверждений: профессионализме, доброжелательности в отношениях с людьми, честности, зыскательности, работоспособности...

В. Волгин, не долго думая, назвал неожиданную для меня черточку шишловского характера — дипломатичность в отношениях с людьми. И тогда я вспомнил признание Василия Андреевича. Рассказывая о своей юности, он поведал мне тайну, в которой редко кому признавался. Оказывается, в школе он мечтал поступить в Институт международных отношений.

— Не хватило смелости? — глядя на огромные мозолистые руки Шишлова, спросил я. Спросил, а про себя подумал: «Не дурно бы выглядел посол с такими «кувалдами» из-под белоснежных манжет».

В. Шишлов усмехнулся, словно разгадав мои мысли, как-то по-особому бережно отер ветошью руки и сказал:

— Смелости мне не занимать, но бывают ситуации, когда и храбрость, и настойчивость разбиваются о неприступную стену обстоятельств...

Я вопросительно промолчал.

сается оппонентов, то они, напротив, считают, что рабочему человеку положено говорить, не оглядываясь на номенклатурность. Нет, нелегко живется В. Шишлову на заводе. Но он и не претендует на «покой пенсионера». На очередном декадном совещании у директора завода, после того, как главные специалисты на «излюбленной ноте» закончили выступления и готовы были разойтись, В. Шишлов взял слово и настоял на том, чтобы главный энергетик завода А. Коновалов и главный механик А. Бессонов задержались и отчитались перед ним по вопросу, поставленному в свое время рабочим коллективом.

— Кто ты такой, чтобы нам указывать? — не выдержал один из них.

В. Шишлов обезоруживающе улыбнулся и напомнил, что до сих пор на протяжении многих лет является председателем совета бригадиров объединения, а значит, уполномочен представлять интересы рабочих в назревающем конфликте. Директор предприятия и секретарь парткома встали на сторону В. Шишлова. Однако я не убежден, что это понравилось оппонентам «рабочего директора».

— Ничего, время все сгладит, — примирительно сказал В. Шишлов. — Я ведь не для себя старался. И уж поверьте мне, когда дело касается общественных интересов, тут я ни перед

чем не остановлюсь. Понадобится — в Москву поеду.

И ездил. И на прием к министру прорывался, и вопросы решал те, которые не под силу были руководству завода.

— Он у нас человек пробивной, — рассказывая о В. Шишлове, говорил мне секретарь цехового партбюро Дмитрий Михайлович Плотников. — Если за дело берется — значит, положительное решение будет не за горами. Он ведь рабочий коллектив представляет в ЦК профсоюза отрасли. А значит, о многих должен беспокоиться...

— Шишлов пробивной человек? — удивился работающий бок о бок с Василием Андреевичем молодой токарь Юрий Клепиков. — Быть этого не может. И я вам сейчас докажу это...

Юрий выключил станок, подошел ко мне и, улыбаясь, выпалил:

— Спросите у него, сколько лет в очереди на получение домашнего телефона стоит? Десять, пятнадцать... И к кому он только не ходил. Последний раз был в горисполкоме, у зампреда. И что? Отфутболили его, пообещав поставить на льготную очередь. Думаю, что до пенсии ему как раз в обрез придется в ней стоять. А вы говорите — пробивной...

Я не заметил, как за моей спиной выросла плотная фигура В. Шишлова. Юрий не растерялся и, усмехнувшись, сказал, обращаясь к бригадиру:

— Слышишь, Андреич. Ты бы воспользовался приездом корреспондента из Москвы и попросил написать о телефоне для себя...

Шишлов поднял могучий кулак и сердито погрозил Юрию.

На партийной конференции должен встать вопрос о подлинном народовластии. Ибо социалистическая демократия — это власть самого народа и гарантировать ее может только сам народ. Для этого ему должны быть фактически подчинены и выражать его интересы все силы политической и экономической власти — руководящие государственные, партийные и хозяйственные органы, армия, органы безопасности, печать.

Бюрократическая система означает отсутствие власти у народа и сосредоточение ее только в руках руководящих органов. Причем лица, находящиеся в этих органах, уполномочены не народом, а являются чиновниками, представляющими «высокие инстанции». Сложилась система, которую К. Маркс называл «иерархической инвестицией». Принадлежность власти к народу заботятся партия и государство, это форма благотворительности. Такое «пеленочное» состояние имеет свои прогрессивные пределы, но достижения которых должно начаться торможение развития. Именно это и произошло в нашем обществе.

Современное руководство серьезно поставило вопрос о демократизации, и сделаны первые практические шаги. Но такие преобразования не могут быть осуществлены только усилиями руководства. Необходимо строго следовать ленинским указаниям: «Социализм не создается по указам сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс».

Власть народа (социалистическая демократия) включает три главных условия: прямое народовластие, реальную избирательную систему и всевластие Советов. Народ прямо (а не через представителей) должен решать важнейшие вопросы социально-экономического развития. Систематическими станут прямые инициативы общества, реальные общенародные обсуждения планов и итогов экономического развития и общенародные референдумы.

В органы всех инстанций на одно депутатское место должно баллотироваться несколько кандидатов, и срок пребывания депутатов в руководящих органах необходимо ограничить, избиратели должны получить возможность отзываться их в любое время. От соблюдения этих правил зависит фактическая власть народа. Это положение распространяется и на высшие руководящие органы. Никто из руководителей страны не может находиться у власти более строго определенного срока.

Советам должны быть подчинены все учреждения страны без какого-либо исключения.

Одним из выражений деформации нашей системы явилось, по-моему, неправильное понимание и неправильная организация руководящей роли партии.

Классическим образцом является руководящая деятельность В. И. Ленина, который занимал не партийную, а советскую должность, но руководил и государством, и партией.

Перечисленные условия, думаю,

сделают процесс демократических преобразований гарантированным и необратимым.

В. П. КОРНИЕНКО,
доктор экономических наук,
профессор кафедры политэкономии
Киевского института
народного хозяйства,
член КПСС с 1942 года

В ноябре 1964 года я направил в ЦК КПСС письмо, содержание которого будет приведено ниже. Перечитывая сохранившуюся копию, невольно уличил себя (уже с высоты нынешней осведомленности) в некоторой политической наивности, в частности в трактовке понятия «культ» применительно к личности Хрущева Н. С. да и по ряду других моментов. Думаю, что это простиительно, так как термин «волюнтаризм» в то время еще не «звучал», а разобраться в происходящем было практически невозможно, ибо слово «гласность» попросту не было в политическом лексиконе. К тому же и я был достаточно молод. Но вот что касается главного вопроса, поставленного в письме, то он и по сей день не дает мне покоя...

Вот то давнее письмо: «Товарищи коммунисты! Считаю партийным долгом довести до сведения ЦК свое мнение по событиям, которые повлекли за собой изменения в руководстве КПСС, и на причины, породившие эти события. Мнение субъективное и, возможно, ошибочное, но я предпочитаю ошибиться, чем остаться наедине со своими сомнениями».

Смещение тов. Хрущева говорит не только и не столько о способности ЦК радикально бороться с культом личности, но и о том, что на виду у ЦК способен вырасти культ. Предполагаю, что в ЦК партии критика находится не на должном уровне. Только этим можно объяснить то обстоятельство, что отрицательное в личном характере руководителя с течением времени не изживается, не устраняется, а, напротив, развивается, принимает угрожающие размеры, что наносит непоправимый вред делу партии, ее престижу. Только отсутствием настоящей критики, критики в ленинском смысле слова, можно объяснить тот факт, что тов. Хрущев, который был известен как борец против культа личности Сталина, сам попал в болото культа. Тот Хрущев, который стал нетерпим, формировался на виду у Центрального Комитета...

Итак, уже два руководителя закончили свое пребывание на высшем партийном посту не так, как того требуют интересы нашей партии, нашего государства. Третья ошибка недопустима, ибо это может подорвать веру в святая святых нашей партии — силу ее ЦК...

Хочу спросить у ЦК: какие принимаются меры, чтобы не допустить этого? Как рядовой член партии, болеющий за авторитет КПСС, я со своей стороны предлагаю следующее:

1. Поднять критику в ЦК на должную высоту.
2. Ограничить срок пребывания на посту Первого секретаря ЦК КПСС

до четырех лет. Два срока — в порядке исключения, за особые заслуги перед партией и народом.

12 ноября 1964 года». Сегодня я живу ожиданием XIX партийной конференции, от решений которой во многом будет зависеть судьба перестройки. Уверен, что если большинство делегатов («неизменного единства» здесь в принципе быть не может и не должно быть, ибо история уже не раз доказывала нежизненность данного словосочетания) будет представлять и отстаивать перестройку, то процесс демократизации и революционного преобразования нашего общества станет необратимым. В конечном итоге все будет зависеть от позиции каждого коммуниста, от настроя каждой первичной партийной организации.

Е. Е. ГОРЕЛКИН,
зам. генерального директора
ВТПО «Киноцентр»,
член Союза
кинематографистов СССР

10 февраля еду из Одессы в Москву. Поезд № 24, вагон 2, место 7. Захожу в вагон, перед входом в купе стоит сержант-пограничник. «Ваш билет?» «Седьмое место занято, — говорит он и сообщает в высшее на груди переговорное устройство: — Докладывает «Буран-4», на 7-е место пришел пассажир». Из нагрудного динамика громко раздается вопрос: «Военный или в штатском?» Сержант: «Буран-4» докладывает: в штатском. — Опять громко, на весь вагон: «Буран-4», гражданина задержите, в купе не пускайте, сейчас разберемся».

Люди вокруг нас начинают собираться, обсуждают ситуацию, но не зло — одеситы! — с юмором. «А мы вообще без визы», «Скажите, а как нейтральная полоса проходит: вдоль или поперек вагона?» Им хорошо шутить...

Пришел помощник военного коменданта, взял мой билет, записал номер (?) и сказал: «Вам придется выйти». Что делать? Все запасы собственной конфликтной энергии я расходую на производстве, в подобных случаях практически бесполезен. Выхожу. «Часто у вас так бывает?» — спрашиваю у проводника. «Да, каждый раз, когда едет генерал. Приходят один-два солдата и караулят место». Вот так. Ну, со мной все образовалось заботой того же проводника, дали другое место в этом вагоне; все ладно, все хорошо. Но вопрос все же остался и, думаю, достаточно принципиальный. У меня два взрослых сына; один окончил вуз с офицерским званием, другой служил в Кантемировской дивизии. У этого особенно много чистых и сильных воспоминаний о военной службе — службе воспитания. А как оправданно гордиться нелегким военным трудом наших парней, приехав из Афганистана!

Что же расскажет дома сержант, который часть службы нес у спального места, какую «границу» охранял «Буран-4»? И потом — это тоже наш национальный бюджет; армию, конечно, на хозрасчет не переведешь, но и она должна как-то чувствовать перемены, происходящие в обществе.

А генерал пришел в штатском, спокойный, интеллигентный (думаю, что не только «с виду») человек. Может, и ему претит такой «сервис». А если в принципе это и нужно, то наверняка не в такой откровенной, технически оснащенной, громкоговорительной и, извините, бестактной форме.
О. МЕЛЬНИКОВ,
агроном
Одесса.

Считаю необходимым еще до партийной конференции предложить, чтобы выборы секретарей первичных организаций КПСС проводились не на заседании партбюро или парткома, а на партийном собрании с выдвижением нескольких кандидатур. Такая мера коренным образом изменит обстановку в первичных организациях. К руководству ими придут действительно авторитетные коммунисты, имеющие свое мнение, способные его отстаивать и не способные согласно кивать любому, даже абсурдному, указанию — если это указание сверху, — как это делает большинство нынешних секретарей.

Кроме оздоровления обстановки в первичных партийных организациях, это в значительной степени изменит состав районных и областных партконференций, а следовательно, изменится и состав партийных съездов. Партия будет способна принимать все более кардинальные, демократические решения.

В. А. РЕМИЗОВ
Горький.

В последнее время стали проводить аттестацию врачей, результаты которой весьма плачевны. А почему бы не ввести подобную аттестацию для учителей средних учебных заведений? Конечно, речь идет не о тех педагогах, которые пользуются заслуженным уважением учеников и родителей. Речь идет о выпускниках хотя бы последних десяти лет. Уверена, что в результате такой аттестации многие окажутся профессионально непригодными. О какой реформе народного образования может идти речь, если, например, учитель 3-го класса объясняет детям, что «в лесу» — дательный падеж, потому что окончание «у»?

Пишу об этом не только потому, что скоро в школу пойдет мой сын. Недостатки школьного образования мы с мужем сможем исправить, благо у нас есть база — мы выпускники Московского университета.

Пишу еще и потому, что не могу устроиться на работу (я преподаватель немецкого языка). В школах получала один ответ: «нам никто не нужен», «у нас все забито». В районо мне сказали, что я могу ждать «места» лет двенадцать. То же самое со специализацией «русский язык и литература». По-моему, если бы не было учителей, которые не могут просклонять имя существительное, то не было бы и двенадцатилетней очереди на «место» учителя.

Учителю, кроме диплома, нужны еще и знания.

З. И. ГОЛУБЕВА,
28 лет
Махачкала.

В попытке подкрепить свою версию трагических событий истории страны в тридцатые годы В. Кожин недавно вторгся в область демографии («Наши современники», 1988, № 4). При этом в качестве точки отсчета им почему-то взята неверная цифра — оценка численности населения на 1 января 1933 года, опубликованная тогда ЦУНХУ. Но «в ежегодных исчислениях населения СССР после переписи 1926 года были допущены серьезные просчеты» — этот факт, известный всем специалистам, определенно указан в «Истории советской государственной статистики».

Вообще В. Кожин, кажется, с теми годами все ясно, хотя они являются огромным белым (а скорее черным) пятном в демографической истории страны. Он, в частности, упрекает меня за сомнения в точности опубликованных итогов переписи населения 1939 года, высказанные в статье «Сколько же нас тогда было?» («Огонек», 1987, № 51). Точность же опубликованных итогов может быть еще более подвергнута сомнению, хотя бы потому, что, как писал один из руководителей переписи — П. Г. Подъячич, работа по проверке контрольных бланков (без малого 10 миллионов!) и исправление итогов переписи на основании их были завершены к концу марта 1939 года, сами же итоги переписи были представлены руководству страны только в апреле. А цифра населения СССР, равная 170 миллионам, была названа И. В. Сталиным еще 10 марта 1939 года в докладе на XVIII съезде ВКП(б). Не говорит ли это еще раз о том, что небезосновательно подозрение в подгонке результатов переписи под заранее заданную и даже, как оказывается, названную цифру?

Утверждение В. Кожина, будто итоги переписи 1959 года подтверждают опубликованные данные переписи 1939 года, представляется просто несерьезным. Ведь между двумя этими переписями прошло не просто двадцать лет, а была война с ее колоссальными человеческими потерями, изменились и границы страны.

Безусловно, сегодня воссоздание правдивой картины трагической истории населения страны в тридцатые годы остается одной из самых актуальных задач советской демографии. Путь к ее решению лежит через работу в архивах, критический анализ цифровых материалов, моделирование с помощью современных научных методов демографической ситуации тех лет. Но он явно не может быть подменен спекуляцией на старых, во многом недостоверных цифрах, которыми и без того уже более сорока лет жонглируют некоторые зарубежные советологи.

М. ТОЛЬЦ,
кандидат экономических наук
Москва.

Недавно меня потрясла незначительная на первый взглядценка. Хозяйка показывала гостям засушенного морского конька, хранящегося у нее в качестве сувенира. Одна из гостей, молодая художница, родившаяся и прожившая всю жизнь в Одессе, пришла в восторг — оказывается, она видела его впервые.

Во времена моего детства — а я тоже одессит — морских коньков (живых!) было в море такое множество, что любой ребенок ловил их рукой, как сейчас ловят медуз. Я на пятнадцать лет старше художницы — и вдруг осознал, что за эти годы в состоянии Черного моря

произошли роковые экологические сдвиги.

Исчез не только морской конек. Мы, дети, легко ловили руками рыбу иглу, осторожно, большим и указательным пальцами хватили за бока бегущего по дну краба. Собирали на мелководье рачков — для рыбной ловли, выброшенных на берег мидий — для плова. Рассказывал это, и художница слушала меня, как путешественника, вернувшегося из экзотической страны.

Еще помню: несколько лет подряд к нам на дачу приезжали в отпуск друзья из Москвы — семья дипломата, полжизни прожившая за рубежом. Так вот, самым их любимым деликатесом, превосходившим, как они утверждали, все, что им было знакомо, стала копченая черноморская скумбрия. Рыбный Привоз, центральный базар Одессы, кроме копченой скумбрии, завален был тогда и громадами, как щит, камбалой и небольшими, но очень нежными по вкусу глосиками, множеством других деликатесов Черного моря.

Сейчас вода такая грязная и безжизненная, что в ней мало что увидишь. Черноморская скумбрия давно ушла из нашего моря. Камбала и глосики стали на Привозе большой редкостью, да и ловят их уже не под Одессой, а под Очаковом. Привоз же завален теперь мороженой и консервированной рыбой с Дальнего Востока и Крайнего Севера. Одни черноморские бычки пока еще сопротивляются загрязнению, но на каждом из них стоят на волнорезе по десятку рыболовов с удочками.

По данным археологов, человеческая цивилизация в Северном Причерноморье существует по крайней мере пять тысяч лет. И морской конек благополучно жил все это время. Но вот пятнадцать лет XX века хватило на то, чтобы он стал экспонатом кунсткамеры.

Черное море не высыхает, как Арал или Севан, но из моря с богатой флорой и фауной оно быстро превращается в мертвое море.

Э. А. АРЗУНЯН
Одесса.

Во множестве анкет, которые нам приходится заполнять, есть графа — национальность. В народе ее называют пятым пунктом. Пятый пункт заполняют за детей родители, когда отдают их в школу. Заполняем мы ее сами, когда вступаем в комсомол, в партию. Когда поступаем учиться в профтехучилище, институт, аспирантуру. Когда оформляемся на работу, записываемся в библиотеку, устраиваемся в гостиницу (и такое было!). Когда нас выдвигают в различные выборные органы — от сельсовета до Верховного, когда избирают по конкурсу на младшего или старшего научного сотрудника, доцента, академика. Надо его заполнить при представлении к наградам: орденам, медалям, государственным премиям. Его заполняют в различных учетных карточках, юридических документах, в паспорте.

Думаю, что строку с указанием национальности без ущерба для дела можно сократить. Такой шаг будет только способствовать совершенствованию национальных отношений.

С. Л. АВЕРБУХ,
ветеран войны и труда
Киев.

В печати все чаще раздаются голоса за сохранение магазинов «Березка». Естественно, что эти предложения исходят главным образом от тех, кто имеет доступ к прилав-

кам этих магазинов. Я сам изредка пользуюсь такой привилегией, получая через ВААП небольшие гонорары за научные публикации. Однако мой голос — против «Березок».

Поборники «Березок» не могут, разумеется, высказать вслух очевидные для всех истинные причины своей озабоченности и, как обычно в таких случаях, выдвигают аргументы высшего морального порядка, становясь в позу мучеников, обрекших себя на физические и духовные страдания ради высоких идеалов патриотизма и интернационализма... Полноте! Разве мученики требуют платы (в валюте!) за свои муки?

Мне пришлось бывать в загранкомандировках в развитых странах Западной Европы и в одной из африканских стран. Я своими глазами видел условия труда советских специалистов, журналистов, дипломатов за рубежом. Ответственно утверждаю, что для того, чтобы жить и работать в таких условиях, не требуется никакого героизма.

Я не имею в виду, конечно, тех исключительных случаев, когда, скажем, журналист проявляет мужество и отвагу, исполняя свой профессиональный долг под пулями в какой-либо горячей точке планеты. Однако и в этом случае предоставление социальной привилегии в материальной сфере — не лучшая форма признания его заслуг. Существуют же почетные премии, правительственные награды и тому подобное.

Любители «Березок» пугают: если их не будет, то советские граждане, мол, не поедут за рубеж. Поедут! Только не те, кто ищет там чеки Внештоссылторга, а другие, кто действительно движим высокими идеалами. Думаете, таких нет? Ошибаетесь! Я сам видел в Африке множество специалистов из Англии, США, Франции, ФРГ. Разве мы — хуже?

Ревнителю «Березок» угрожают: не отдадим валюту родному Отечеству, всю изведем за рубежом! Думаю, что это не опасно. Приток валюты от них невелик, да и единственный ли это способ заработать ее для нашей державы?

Думаю, что закрытие «Березок» оздоровит атмосферу вокруг граждан, командированных за границу. Изменится в лучшую сторону и контингент этой социальной группы, а также тех, кто по роду службы причастен к выездам за рубеж.

К. С. ГОЛОВАНОВСКИЙ,
профессор,
доктор физико-математических наук.

В один и тот же день — 19 апреля 1988 года две центральные газеты опубликовали статьи на одну тему: «Особый рейс» («Труд») и «Государственный пост № 1 за Уралом» («Известия»). Рассказывается в них о том, как в годы войны из Москвы в далекую Тюмень был вывезен саркофаг с телом В. И. Ленина. Одновременно в статьях упоминаются имена ученых, занимавшихся баллированием тела для его сохранения. В том числе действительный член Академии медицинских наук СССР Борис Ильич Збарский, возглавлявший лабораторию медиков-баллистов после профессора В. П. Воробьева, даты жизни которого — 1876—1937 (!). Это они вместе сэкономили для потомков тело вождя, и оно покоится теперь в Мавзолее на Красной площади.

Об этой уникальной работе сам Б. И. Збарский рассказал в книге «Мавзолей Ленина». «Работа была исключительно трудная и напряженная. Нам приходилось на ходу производить ряд экспериментов в лаборатории, выяснять шаг за шагом возможности применения последних достижений современной

анатомии и биохимии... Первые дни наша работа протекала круглые сутки без перерыва...» Далее Б. И. Збарский уточняет: «Нет никакого сомнения, что благодаря исключительному вниманию партии и правительства и лично товарища Сталина наша работа закончилась успешно».

Вряд ли стоило бы сегодня снова возвращаться к дежурной в те годы верноподданнической фразе, если бы газеты поведали читателям всю правду о людях, которым мы обязаны и сегодня видеть облик Ильича. Дело в том, что Б. И. Збарский тоже пал жертвой оговора. Он был арестован по «делу врачей» в 1952 году. Его портрет, висевший в медицинском институте, сорвали тогда со стены. Сегодня можно только догадываться, в чем его обвинили, ведь врачом-отравителем он быть не мог. Ясно одно: состарившемуся Сталину нужен был способ баллирования, а сам ученый, успешно разработавший его, был ему уже ни к чему.

Илья ОКУНЕВ,
журналист
Москва.

С интересом узнал, что знаменитый австрийский культурист, герой многих американских кинобоевиков, Арнольд Шварценеггер недавно снялся в роли московского милиционера. И съемки проходили не где-нибудь, а на Красной площади в Москве, чему стали свидетелями многие советские люди, при этом присутствовавшие.

Разве можно было представить себе такое даже год назад? И сейчас, когда потепление в отношениях между нашими странами становится все более заметным, сознание сопротивляется, словно не доверяет подобной информации. Конечно, этот факт стал возможен благодаря большому доверию между нашими странами, результатом новой политики в международных отношениях, проводимой Генеральным секретарем.

Хотелось бы, чтобы американский видеофильм «Красная жара» сломал стереотип представления о советском человеке, который у многих американских зрителей, особенно молодых, сложился под впечатлением фильмов «Рембо-II» и «Рокки-IV». Тем более что посвящен он теме, волнующей обе наши страны, — борьбе с наркотиками. По сюжету Иван Данко (Шварценеггер) раскрывает группу торговцев наркотиками, нити от нее тянутся в Соединенные Штаты, и там он уже действует вместе с американским полицейским, добываясь победы над преступниками. Трудно, конечно, ожидать, что герой боевика будет очень уж достоверен, и все-таки будем надеяться, что в исполнении известного актера он привлечет симпатии американской публики.

Я же лично был рад услышать, что Шварценеггер увлекся культуризмом после того, как подростком увидел выступление нашего тяжелоатлета Юрия Власова.

Общение, а не противостояние взаимно обогащает людей.

А. ЧУЛКОВ,
студент
Москва.



Наш адрес:
101456,
Москва,
Бумажный проезд, 14

ОБЫСК
НЕ ДАЛ НИЧЕГО.
— ПУСТО...—
РАЗДОСАДОВАННО
ВЗДОХНУЛ ГЛАВА
ОПЕРГРУППЫ И
ШВЫРНУЛ
ПЕРЕЛИСТАННУЮ
КНИГУ НА ПОЛ.
ПЕРЕПУГАННЫЕ
МАЛЫШИ ИРАКЛИ
И МАРИКО,
ВЦЕПИВШИСЬ
В МАТЕРИНСКИЙ
ПОДОЛ,
РАЗГЛЯДЫВАЛИ
ДЯДЕЙ
В МИЛИЦЕЙСКОЙ
ФОРМЕ.
А ДЯДИ ПЕРЕТРЯСАЛИ
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ,
УВЛЕЧЕННО
«ШТУДИРОВАЛИ»
СОЧИНЕНИЯ
КЛАССИКОВ И
ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ
ЗАПУСКАЛИ
ПАЛЬЦЫ В КРУПУ.
«ГОСТИ» ИСКАЛИ
БАБУШКИНО ЗОЛОТО.
ЗОЛОТО НЕ НАШЛИ,
НО БАБУШКИ В ДОМЕ
БОЛЬШЕ НЕ СТАЛО...

В

ЗАПЯТЫЕ

ПОДСУДИМЫЕ

Михаил КОРЧАГИН,
специальный
корреспондент
«Огонька»

СУДЕБНЫЙ
ОЧЕРК

О ЧЕМ МЕЧТАЛ «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ»

Ее арестовали в тот же день. Прямо на улице. И в жизни Нателы Александровны Цикаришвили резко обозначилась глубокая трещина, разросшаяся до размеров пропасти. По ту сторону — прожитая жизнь, по эту — согласно приговору суда, 14 долгих лет исправительно-трудовой колонии. Когда выйдет на свободу, будет под 70. Начинать заново поздно. В прошлом — 54 года безупречной биографии. И базары... Десять тбилисских базаров с оранжевыми пирамидами мандаринов, опьяняющими запахами солений и отрезвляющими ценами.

Эта рыночная экзотика и «досталась» Н. Цикаришвили, когда возложили на нее руководство колхозными рынками г. Тбилиси. Далеко не новостью было для нее то, что творилось за мандариновыми насыпями. А там шла неравная борьба за прибыльный квадрат рыночного прилавка. В результате труженики-сеяне оттеснялись спекулянтами, обирались работниками рынка. Этим последним и объявила она войну.

...«Доброжелатель» же не заставил себя долго ждать — в первом своем писании обвинил Цикаришвили во взятке. Сумма пока составляла 30 000 рублей.

До уличного ареста оставалось два месяца... Посетила анонимка и редакцию. Сумма взятки на этот раз подскочила до 92 300 рублей. «Хотим, чтоб

о преступнице Цикаришвили знали читатели «Огонька», — требовали авторы скромного творения. Срочно присылайте корреспондента! И творение, согласно недавно вышедшему постановлению, полетело бы в корзину, если бы не одно приложение к нему — газетная статья из «Вечернего Тбилиси», где жирным петитом выделялись строчки: «На протяжении длительного времени Н. Цикаришвили открыто попирала закон, вступала в преступные связи с подчиненными, занималась взяточничеством, вымогательством».

В силу убедительности газетного приложения анонимка внушала доверие, и я срочно вылетел в Тбилиси...

Причем вылетел не раздумывая. Шутка ли сказать: на скамье более 30 (!) раскаявшихся взяткодателей. Вместе с избалованной преступницей. Впрочем, не столько интересовала последняя, сколько сами взяткодатели, на редкость дружно заявившие о своих же преступлениях. Чем не устраивала их сладкая базарная жизнь, которую сознательно меняли они на тюремную похлебку? Неужели разбуженная совесть и как следствие — покаяние? Ведь за руку-то никто не ловил. Эти и множество других вопросов просились в блокнот, когда подлетал я к городу Тбилиси, в котором инкогнито поджидал меня таинственный адресат...

МИЛЛИОН ЗА УЛЫБКУ

Замысловатость сюжета, замешанного на сюрризах судьбы, надеялся увидеть я в этой нашумевшей уголовной истории. Но сюжет был на редкость банален и прост: давали — брала. Одни несли ежемесячно, дабы задобрить Цикаришвили и не быть уволенными с работы. Платили за благорасположение. Проще говоря, за улыбку, вызываемую хрустом многотысячных купюр.

«Улыбка» Цикаришвили в конце концов обошлась им в 51 800 рублей. Остальную сумму выплачивали «оптом» за устройство на должность рядового кассира, кладовщика, контролера и т. п. Причем первыми руководил просто-таки панический страх.

Из приговора суда. «Они боялись, что Цикаришви-

ли уволит с работы по какой-либо причине, и каждый из них приносил ежемесячно по 100 рублей.

Читателю для справки: ежемесячная зарплата кассиров, контролеров, весовщиков 75—80 рублей.

Платили 100, чтобы получать 75—80?..

А как жили без зарплаты? Где же выгода, без которой просто немыслимо такое преступление, как взятка? За что выплачивалась убыточная взятка?

Чуть позже я нашел возможность встретиться с некоторыми из них, озадачивая каждого этим вопросом.

— Работая на рынке, мы получали от крестьян фрукты, сыр... Поэтому не хотелось покидать рынок... — отвечали они, потупя взор.

Но только ли сочные дары крестьян-тружеников приманивали взяткодателей?

Некоторые из них бесстрастно пояснили суду, что, кроме фруктов и прочего, брали с торговцев и «мелочь». Нетрудно представить размеры такой «мелочи», если с ее помощью доплачивались недостающие до взятки 20—25 рублей, содержались целые семьи.

Признавших факт таких денежных поборов было всего несколько человек. Но какая же уникальная перспектива открывалась тогда перед органами для вскрытия целого пласта рыночной жизни, надежно скрытой от постороннего глаза! Именно тогда, на суде, случайно приподнимался запретный занавес всех рынков Тбилиси. Появилась редкая возможность заглянуть за кулисы прилавков с мандариновыми насыпями.

Но ни суд, ни следствие будто и не замечали вышеупомянутых признаний. Словно замороженные, шли они одним «курсом», прорабатывали якобы единственно возможную версию: «Цикаришвили — взятчица». Но масса существующих методик упорно твердит следователю об опасности односторонности при расследовании. Следствие в данном случае словно опасалось всего «лишнего», что выходило бы за границы данной версии. Оно не делало ни шагу в сторону. Только поэтому, основываясь на материалах дела, беседах со взяткодателями, я и решаюсь на этот не достающий следствию шаг.

ИМЕНЕМ ЦИКАРИШВИЛИ

«По базару ходили слухи...» — именно эту фразу случайно встретил я в обвинительном приговоре Тбилисского городского суда. Впрочем, они действительно ходили, нелепые и вздорные, обо всем и ни о чем. Но одно дело, когда слухи эти «прогуливаются» по базару, и совсем другое, когда ложатся в основу приговора, — эту святая святых нашего правосудия: «По базару ходили слухи, что, если кто-то не даст Цикаришвили денег, того она не будет держать на работе...»

Значит, хватило одних слухов, чтобы ежемесячно, в течение двух лет выкладывать алчной Цикаришвили по 100 рублей?

Попробуем представить, как происходило вручение этой сотни, то есть саму структуру дачи взятки. Если верить следствию, у кабинета взятчицы в день зарплаты должна была образовываться длинная очередь. Это, согласитесь, исключено. А может, глава объединения, оставляя начальственное кресло, ходила по базарам и, страшая пугливых кладовщиков незаконным увольнением, собирала тысячные подати? Впрочем, не будем гадать. Лучше проследим тот простой путь, по которому «передвигались» взятки: «Работники — директора — Цикаришвили».

Возьмем звено первое: «работники — директора». Чем крепится это звено? Если верить приговору, слухами и ничем иным... Причем малая часть работников верила только им, основная же прислушивалась исключительно к директорам. А последние нашептывали примерно одно и то же: «Эта Цикаришвили обязательно вас уволит и назначит своих людей... Если, конечно, вы не дадите ей на лапу...» То есть именем ужасной Цикаришвили требовали взятки. И результат не заставил себя долго ждать — перепуганные подчиненные послушно несли директорам требуемые червонцы.

«Я каждый месяц приносил своему директору деньги для Цикаришвили», — показывают практически все взяткодатели.

Если, конечно, верить приговору, то честные директора чинно несли Цикаришвили сии тысячи, не

заимствуя из них ни копейки. А вот несли или нет — это загадка, которую следствие и не пожелало разгадывать.

А ведь взяткодатели сами вручали ключ к разгадке: «Я не присутствовал в тот момент, когда директор Кобалава передавала наши деньги Цикаришвили. Я не уверен даже в том, передавала ли она ежемесячно наши 1500 рублей». «При фак-

тах передачи денег Цикаришвили директором Хоргуани я не присутствовал, но она нам говорила, что относилась целиком».

А «относила» ли? Ни следствие, ни суд так и не заинтересовались этим вопросом, неизменно придерживаясь одной якобы единственно возможной версии «Цикаришвили — взятчица». Не разрабатывалась следствие и другая версия — о сборе взятки от имени Н. Цикаришвили и их присвоении посредниками.

ОТКРОВЕНИЯ С ТОГО СВЕТА

Не обошлось в материалах дела и без мертвых душ. В данном уголовном эпосе ими были некто К. Керимов и Р. Саркисян, давшие Цикаришвили, согласно обвинительному заключению, более 4000 рублей. Честно говоря, не хватало буйства фантазии, чтобы представить ту сокровенную беседу упомянутых тбилисцев со следователем по особо важным делам городской прокуратуры О. Тортладзе. Дело в том, что и К. Керимов и Р. Саркисян еще задолго до описываемых событий... умерли. Не берусь судить, которым из методов медитации пользовался следователь, чтобы вызвать духи этих «взяткодателей». Результат налицо: разоткровенничавшиеся усопшие, согласно одному из постановлений городской прокуратуры, «не только признали факт совершения преступления — дачу взятки Цикаришвили, — но и изобличили... пояснили». Выходит, и их грозилась уволить Цикаришвили?

Но поговорим о живых. Интересно, кого из последних вообще могла уволить (и уволила ли) она, если, согласно приказу управления торговли Тблгорисполкома № 1/271: «Директор рынка обязан... распоряжаться средствами рынка... принимать работников и увольнять». Директор рынка, а не Цикаришвили или сам министр торговли СССР.

Нашлись в материалах следствия и «мертвые души» несколько иного ранга. Их было четверо: работники рынка Шахвердов, Чарквиани, Пруидзе и Чангоян. Эти, к счастью, ходили по грешной нашей

земле. Но именно такой прекрасной возможностью пообщаться со «взятодателями» следователь почему-то так и не воспользовался. Не соизволил он и опросить хотя бы часть других рыночных работников, коих насчитывались сотни. Будто опять опасался, как бы не «наговорили» чего лишнего, что выходило бы за пределы единственной версии.

И чем больше знакомишься с данным уголовным делом, тем оно больше представляется неким карточным домиком, непонятно почему удержавшимся, несмотря на зыбкость выстроенного фундамента — следствия. Один за другим «рушились» эпизоды вручения взяток. Любопытным казался и ритуал вручения денег «взятодателем» Пурцеладзе. Сей ритуал он совершает вдруг у выхода с базара, на виду у сотен людей. А многоопытная, со стажем взяточница прилюдно с готовностью запикивает 3-тысячный веер купюр в дамскую сумочку.

По мере ознакомления с разноречивыми показаниями живых и однозначными свидетельствами усопших навязчивее становился вопрос:

А БЫЛ ЛИ ЛАРЧИК?

Тот самый потаенный ларчик с 92 300 рублями. Были ли вообще те десятки тысяч купюр? Где их фактическое наличие? Хотя последнее, если верить той, единственной версии, можно было иметь уже в день ареста. Даже не устраивая при этом обыска сразу в двух квартирах (Цикаришвили и ее сына). Что стоило, например, служителям правопорядка вручить дружно заявившим взятодателям меченые червонцы? И пусть бы раскаявшиеся отнесли Цикаришвили ежемесячно требуемые суммы. Никакая матерая взяточница со стажем не отвертелась бы потом от принятого «подарка». Неопровержимые доказательства были бы налицо. Именно доказательства, а не базарные слухи.

Но почему-то не спешат со своими испытанными методами местные пинкертонеры: первое «разоблачительное» заявление недопустимо лежит под сукном 21 (!) день. В то время как основная задача правоохранительных органов — пресечение. Где хваленая оперативность, профессиональная смекалка? Чего выжидала группа задержания? Может, того самого всеобщего покаяния? Впрочем, так оно и случилось — некоторые заявления в конце концов организовано приходят в один день, даже час.

Но так ли уж бездействовали слуги закона накануне ареста?

Из показаний бывшего работника рынка, свидетеля Мхеидзе на суде: «Заявление написано мною, но мысли в нем чужие. Чужая мысль, что Цикаришвили понуждала нас к даче взятки. Написание этого заявления произошло в МВД. Над головой стояло 5 человек. Я не собирался писать заявление, но меня вынудили... Когда на базар меня вызвала директор, я пришел. Там ждал сотрудник милиции, который отвез меня в МВД. Это было 8 февраля (за 4 дня до ареста. — М. К.). Спросили: «Давал ли я Цикаришвили деньги?» Я сказал, что нет. Но заставили написать. Второй раз привели в МВД 12 февраля (в день ареста. — М. К.) и снова спросили: давал ли деньги Цикаришвили? Я сказал — нет. Но заставили написать то, что диктовали». А это выписки из показаний свидетеля, бывшего работника рынка Ментешавили на суде: «У следователя был заранее написанный образец, который он положил передо мной, и я переписал... Меня вынудили писать фамилию Цикаришвили, я и написал».

Невольно начинаешь приходить к выводу, что «разоблачение» Цикаришвили началось еще до ареста. Кто же гарантировал оговорщикам неприкосновенность? Вот что говорят по этому поводу некоторые из оговорщиков: «Я узнал, что не накажут, если заявлю добровольно», «объяснили, что не накажут» и т. п. Значит, кто-то «объяснил», от кого-то «узнали». Может, от того же «доброжелателя», запустившего свои анонимки сразу в две прокуратуры незадолго до ареста? С этих-то посланий все и началось. Впрочем, только ли с них?.. Уже неслучайными кажутся сегодня строки, написанные Цикаришвили.

«...Вчера во время совещания, где я принципиально всем в лицо сказала всю правду, один из совещавшихся отвел меня в сторону и недвусмысленно сказал: «Этот характер и излишняя прямота погубят тебя. Начнут тебя проверять, приставят людей и «раздавят»...»

Ведь еще за три месяца до ареста газета «Известия» в статье «Перемены за прилавком» писала о воинствующей Цикаришвили:

«...В городском объединении колхозной торговли Тбилиси сменился начальник. Рынками «командует» теперь Натела Цикаришвили... За несколько месяцев, что идет эксперимент, уволилось более половины работников из числа кладовщиков, весовщиков, контролеров и другого рыночного персонала. Многие со стажем до 30 лет. Ушли, убедившись, что не будет возврата к прежним порядкам, когда можно было «вымо-

гать» за место, за весы, а то и просто так рубли да трешники с торгующих...»

А через три месяца Цикаришвили арестовали...

ПРИГОВОРЕННЫЕ К ПОМИЛОВАНИЮ

Кто же эти покающиеся? Поднимаю служебную документацию Цикаришвили и вдруг нахожу ФИО покающихся в списках проштрафившихся. Одна из них директор Кировского рынка З. Кобалава, на увольнении которой обоснованно настаивала Цикаришвили, издав на этот счет соответствующие приказы. Именно после кобалавского заявления в органы послушно заявили еще 9 ее подчиненных. Хотя на рынке работало около 70 человек.

Сверяю заявления. Удивительно схожи некоторые из них. Будто продиктованы одним человеком. Сличаю даты их подачи и снова вижу массу совпадений. Вот одно из них: работники двух разных рынков, находящихся в разных концах миллионного города, в одни и те же дни, часы (!) являются в органы практически с одинаковыми заявлениями. Так происходит повальное покаяние.

Невольно возникало ощущение оговора. Коллективного, кем-то организованного оговора воинствующей Цикаришвили.

«Мы все договорились обо всем заявить», — случайно проговаривается на суде «взятодатель» Агмадян.

Впрочем, оговор — это только версия. Тогда почему так упорно уклоняется от нее следствие? Что мешало ему отработать и эту версию? Может, опасалось за тот карточный домик, который рухнул бы недоуверенным? Допустим, версия с оговором верна. Но, оговаривая Цикаришвили, калеча ее судьбу, они сознательно ставили под удар и свои судьбы. Взять хотя бы тех пятерых организаторов взятки (об остальных речь пойдет ниже). Эти-то в отличие от прочих проходили по данному делу сразу по двум статьям УК (посредничество во взятке плюс ее дача). Судьба этой пятерки и интересовала меня, когда прибыл я в Грузию.

Где, как и в какой из колоний протекала их жизнь теперь? Не сожалеют ли сегодня о том своем покаянии? А может, не осознавали тогда, что кара придет неминуемо? Ведь за одно только посредничество во взятках этим пятерым грозил срок не менее 7 лет с конфискацией... И это неудивительно: без их оргспособностей преступление было бы невозможно.

Именно так наивно рассуждал я, когда стал наводить справки о местах их заключения. Но рассуждал так, пока в стенах прокуратуры Тбилиси не был ознакомлен с одним оригинальным документом, по своей юридической сути не имеющим себе равных. То было необычное постановление прокуратуры, под казусными строчками которого вот уже более восьми месяцев не решается поставить свою подпись озадаченный зам. прокурора города М. Курдадзе:

«...После совершения преступления... ни один из них уже не работает на занимаемых должностях и уже не имеет возможности совершать аналогичные преступления; они потеряли общественно опасный характер, и... в отношении них возможно прекратить уголовное дело ввиду изменения обстоятельств».

А что, собственно, изменилось? Закон? Сомневаюсь. Как раньше, так и теперь за подобные грехи срок лишения свободы колеблется от 7 до 15 лет. Тогда что же?

Ну, представим на минутку, что они, если верить постановлению, больше не преступники. То есть из общественно опасных перешли в категорию общественно полезных, так как никто из них «уже не работает на занимаемых должностях». Но ведь и Цикаришвили, будучи «трудоустроенной» судьей на 14 лет в швейный цех женской колонии, тоже «не работает на занимаемой должности». И она «уже не имеет возможности совершать аналогичные преступления». Тогда даруйте свободу и ей. В противном случае усаживайте на скамью подсудимых каждого, кто это заслужил. Закон для всех один.

Взятодателей словно оберегают от этой скамьи. Им, преступникам, сразу даруют свободу, делают свидетелями, а уголовное дело так и не передают в суд. Их даже не наказывают по партийной линии. И это несмотря на то, что коммунисты, согласно этому же документу, «признали совершенные ими преступления в подстрекательстве к даче взятки и посредничестве».

Откуда такие, не предусмотренные ни одним законом привилегии? Хочешь или не хочешь, но невольно приходишь к выводу, что еще до ареста Цикаришвили кто-то уже гарантировал им неприкосновенность, амнистируя заведомо...

ЧТО СКАЖЕТ «БАТОНО»

Листаю уголовное дело и вдруг неожиданно для себя встречаю одно противоречивое признание, дан-

ное Цикаришвили после трех месяцев отрицания вины. Перечитываю и не верю глазам: Цикаришвили признает, что взяла 25 000 рублей.

Значит, виновата? Значит, откровенны взятодатель, правы анонимщики и верны по своей сути публикации в местных газетах. Впрочем, решив не торопиться с выводами, именно эти публикации я и перечитал.

Гражданский пафос и отрицательный образ взяточницы, которая «без устали стригла купоны», — все присутствовало в них. Иными словами, во всей Грузии сложилось твердое, непоколебимое общественное мнение: Цикаришвили — отъявленная взяточница. И сегодня вряд ли стал бы я вспоминать те газетные информации, если бы не дни, когда публиковались некоторые из них.

А это были те самые дни, когда лишь шло следствие по делу Цикаришвили и не было доказано ни единого рубля взятки. А несколько газет республики огромными тиражами на русском и грузинском языках выдавали следующую информацию: «За совершение уголовного преступления — получение 40 000 рублей взятки от кладовщиков и рабочих арестована...», «Цикаришвили получала взятку от директоров базаров» и т. д., и т. п. Говорилось об этом и с более высоких трибун республики в самый разгар следствия.

Трудно представить чувства рядового следователя, попавшего под столь шумный «водопад» газетной информации, когда не ломилась от веских доказательств папка, когда уже безрезультатным оказывается обыск и в чужой квартире (сына), когда арестованная не сознается в том, в чем ее обвиняют. Идти наперекор общественному мнению отважился бы не каждый. Смелчаков не оказалось. По сути дела, подследственная автоматически становится кандидатом в подсудимые. Следователь Тортладзе берется доказывать недоказуемое. С этим намерением он и переступил порог камеры с подследственной Цикаришвили...

Из акта судебно-психиатрической экспертизы: «В изоляции периодически возникают устрашающие чувства удушья в виде «кома в горле»... После перенесения травмы черепа постоянно ощущает страх закрытого помещения, периодическое чувство нехватки воздуха... Жалобы на чувство удушья и боли в области сердца».

В таком состоянии и застал он больную женщину, для которой каждый прожитый день «в изоляции» был настоящей пыткой.

Из заключительного слова Цикаришвили на суде: «Тортладзе стал меня убеждать, что он хочет мне помочь, что меня из тюрьмы не выпустят, если я не признаю хотя бы какой-нибудь эпизод с большой суммой денег, так как это придает достоверность моим показаниям. Мотивировал это тем, что об этом же меня просили передать руководители, члены моей семьи, чтобы я доверилась Тортладзе, и он мне поможет...»

Именно к членам ее семьи и вошел в доверие следователь, надев маску друга. В чем огромную роль сыграло то, что он стал неофициальным почтальоном между обеими сторонами. А в каждом письме делалась крохотная, но важная для «почтальона» приписка: «...Послушайся следователя батона Олега», «...Отар! Раинди! Тамрико! Слушайте во всем Олега. Он мой покровитель». Доставить письма из следственного изолятора мог только он.

И хлопоты воздались сторицей — «чистосердечное» признание получено после месяцев отрицания вины. Что не смог предыдущий следователь О. Джапаридзе (факт смены которого трудно объяснить), смог «почтальон» Олег. Впрочем, одного признания было мало. Не хватало улики, подтверждающей взятку. Понадобились наличные, якобы добровольно внесенные преступницей. Батону требовал сумму поубедительнее. А откуда ей взяться? Ведь единственная крупная сумма их семьи была на сберкнижке ее внуков, осиротевших после гибели мужа ее дочери. В дни похорон верные друзья, родственники покойного собрали для осиротевших детей 12 тысяч, положив их на сберкнижку. До дня их совершеннолетия эта сумма оставалась бы неприкосновенной, если бы не письмо, написанное Цикаришвили и переданное через личного «почтальона».

«Батону Олег скажет вам все... Без этого меня не выпустят... Делайте, как скажет он... Прости меня, Тамрико, за то, что моя проклятая судьба поставила вас в такое положение. Прошу тебя снять деньги со сберкнижки твоих сирот... Сынок Гия! Прости и ты. Но попроси своего тестя, чтобы вынул и дал недостающую часть. Остальное одолжите, у кого возможно. Иначе мне не вырваться отсюда. А вырвусь, докажу правду... Отар! Раинди! Слушайте во всем батону Олега!»

И они слушали. А когда в сберкассе приключилась заминка — сразу не могли выдать такую сумму, — родня срочно обращается к «покровителю».

— Поймите же вы, — просит покровитель и. о. зав.



Мы сейчас переживаем очень интересное время, идет перестройка всей духовной жизни нашего общества. Выставка Марка Шагала недавно прогремела в Москве. Выставка А. Лентулова — ее мы ждали 50 лет. Вот мы все считаем большими масштабами, наверное, потому, что страна у нас большая, — можно 50 лет ждать, можно 100, а можно и 150 лет ждать! Это не шутки — это боль. Все-таки слишком поздно все это открываются. Да и не для всех...

...Вспоминаю, как в 1958 году я впервые увидел Назыма Хикмета на Конференции писателей стран Азии и Африки в Ташкенте. Кто-то попросил его позировать художникам. Назым Хикмет остановился: «Но вы должны изобразить меня в духе социалистического реализма... Образ должен быть типическим, правда? Да, да, я турок, и вы должны меня сделать черным, а я — рыжий! А потом, я борец, значит, и поза должна быть соответствующая».

Он был в хорошем настроении и шутил, но он терпеть не мог лжи. «Как жаль, — думал я, — что он не встретил моего отца — лишь один год разделил их в жизни... Но картины!»

На другой день я подошел к Назыму Хикмету и сказал: «Я хочу показать вам картины моего отца...» Назым Хикмет внимательно посмотрел на меня и вдруг сказал: «Сейчас будет перерыв, и мы едем к вам».

В феврале 1959 года в журнале «Современный Восток» (№ 2) появилась статья — небольшая колонка в пятьдесят строк.

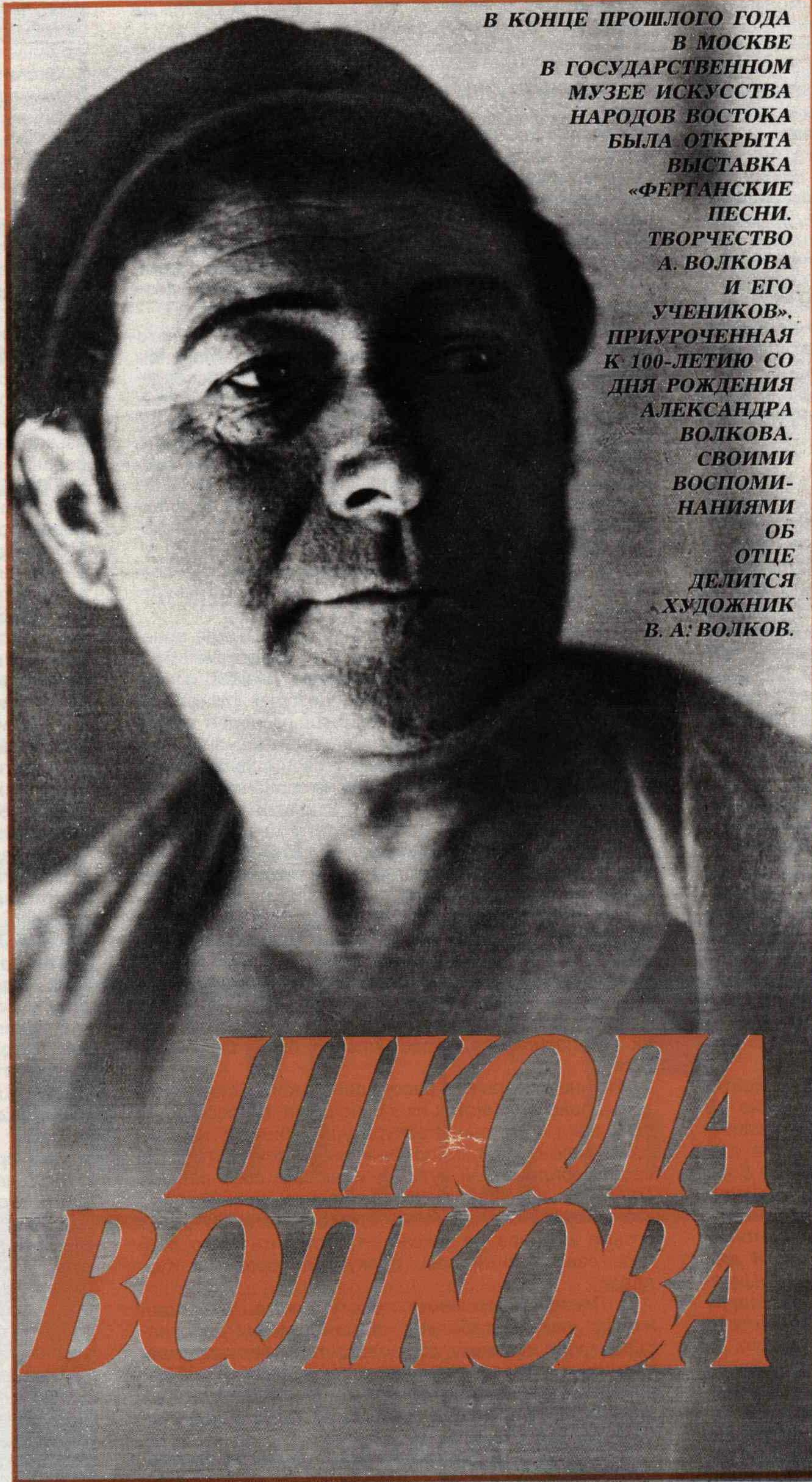
Именно эти строки изменили судьбу творчества А. Н. Волкова. Это было как «вид на жительство» во всемирной истории искусств. Отдельные строки цитируют уже почти тридцать лет, они — как стихи, их ритм созвучен творчеству Волкова, но статью целиком не знают даже исследователи творчества Хикмета, она затерялась на страницах специального журнала Института востоковедения. Поэтому я привожу ее целиком, тем более что «Огонек» дает цветные репродукции, чего нельзя было сделать в первом издании и о чем Назым Хикмет очень сожалел.

«Чтобы изучить Советский Союз, одной человеческой жизни недостаточно. И не потому, что территория этой страны огромна, а потому, что безгранична красота советских людей».

В 1958 году в Ташкенте я познакомился с творчеством одного советского художника, умершего два года тому назад. Имя его — Александр Николаевич Волков. Он русский по национальности и настоящему узбекский художник по призванию. Говорят, он не знал узбекского языка, но зато очень хорошо умел рисовать «по-узбекски». Семьдесят один год прожил он на земле. Я видел его автопортрет: это был человек огромный, как гора. Пешком, с кистями и красками, в коротких штанах и в берете он обошел всю Среднюю Азию, влюбленный в человека, солнце, землю, прошлое, настоящее и будущее этого края.

Я посетил мастерскую Волкова вместе с известным итальянским поэтом Вельсо Муччи. Прошла только неделя, как мы приехали в Ташкент, но и за одну неделю город и его люди пленили нас. В мастерской Волкова мы в течение двух часов любовались его картинами и еще сильнее, всей душой, влюбились в Узбекистан и в Советскую Среднюю Азию. Про художника, который заставляет полюбить свою страну и свой народ, можно сказать, что он достиг высшей ступени искусства.

Как и все большие мастера, Вол-



В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА
В МОСКВЕ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
МУЗЕЕ ИСКУССТВА
НАРОДОВ ВОСТОКА
БЫЛА ОТКРЫТА
ВЫСТАВКА
«ФЕРГАНСКИЕ
ПЕСНИ.
ТВОРЧЕСТВО
А. ВОЛКОВА
И ЕГО
УЧЕНИКОВ».
ПРИУРОЧЕННАЯ
К 100-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА
ВОЛКОВА.
СВОИМИ
ВОСПОМИ-
НАНИЯМИ
ОБ
ОТЦЕ
ДЕЛИТСЯ
ХУДОЖНИК
В. А. ВОЛКОВ.

ШКОЛА ВОЛКОВА

ков в течение всей своей жизни искал, не отрываясь от земли, не прячась от лучей солнца и звезд, будучи тесно связанным с народом, — искал все новые и новые возможности выражения своей любви. Поэтому творческое наследие Волкова, как и всякого выдающегося художника, мы подразделяем на этапы, связанные между собой и непохожие один на другой. Какой этап мне больше понравился? Все!

Осмотр картин или их репродукций — это первый шаг к тому, чтобы понять самого художника. И чтобы понять Волкова, надо видеть его полотно в оригинале или в очень хороших репродукциях. У этого прекрасного мастера узбекского искусства все прекрасно: и линии, и форма, и композиция. Но великолепнее всего — его краски. Я тоже сын Азии, и в моей стране ночи играют красками точно так же, как узбекские ночи, переданные кистью Волкова.

Если бы я был министром культуры Узбекистана, я немедленно приказал бы сделать цветные репродукции с картин этого художника и по-

слал бы их во все концы Советской страны и всего мира. Понять и полюбить Советский Узбекистан нам очень помогли оптимистические полотна Волкова, освещенные среднеазиатским солнцем и светом социалистического строительства.

Назым ХИКМЕТ.

НАДГРОБНЫЙ ПЛАЧ

«Надгробный плач» — это о нашей жизни? — спросила меня на выставке женщина. Лицо ее было сурово, а вернее, скорбно. Вместо ответа я решил рассказать ей историю, которую поведал мне отец.

Перед этой картиной несколько часов молча простоял В. Ф. Войно-Ясенецкий. Вы слышали об этом удивительном человеке, о его сложной, даже фантастической судьбе? Он был профессором-хирургом и одновременно священнослужителем. Имея академическое художественное образование, он не мог признать «кубофутуризм» Волкова. Кроме того, он преподавал анатомию в том

же художественном училище, где работал мой отец, их эстетические взгляды, конечно, не совпадали. Да и трактовка евангельского сюжета была отнюдь не каноническая. И все же какая же духовная сила удерживала его перед картиной на выставке Волкова в Туркестанском университете в 1921 году?

Значительно позже известный русский востоковед Ю. Н. Завадовский напишет, что «в то время, когда картина создавалась, еще не был открыт Пянджикент, и Волков не мог видеть фреску с оплакиванием Сиявуша, а произведение Волкова перекликается с домусульманской живописью Средней Азии. Женщины с обнаженной грудью, рыдающие по усопшему, яркость колорита, обилие зеленого, синего, красного — эта символика пантеистична и международна».

Но перед нами все же оплакивание Христа. «Красочность — радость, трагизм — оплакивание» — так объяснял суть художник, хотя мог ли он объяснить свое творение, где в облике Христа угадывается сам художник, еще не ведающий, что готовит судьба ему и всем нам. Мы никогда не узнаем, что чувствовал и думал глубоко верующий В. Ф. Войно-Ясенецкий, какая духовная сила держала его перед этой картиной.

Может быть, наша общая судьба? «Значит, вы правы, — сказал я женщине, — это о нашей жизни».

ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ

«Красный звон» — газета, печатавшаяся на больших листах оберточной бумаги, она была еженедельным литературно-художественным приложением к «Известиям ЦИК и исполкома Ташкентского Совета рабочих, солдатских и дехканских депутатов».

«Мы многого не слышим, мы многого не видим, или потому, что не можем и не умеем среди злободневной разногласицы и разноцветности уловить глубокое единство земного плана и ритма, или потому, что все значительнейшее и глубокое до времени само таится от оглушенных и ослепленных «злой днью сего» современников». Слова эти сказаны не сегодня. Я цитирую статью «Живая земля (Туркестан в произведениях художника Волкова)», напечатанную в № 5 газеты «Красный звон» за 1919 год. Перед нами философская, во многом провидческая статья о молодом художнике. «В туркестанском творчестве Волкова можно заметить те начала, которые могут превратить его в участника огромного коллективного зидительства...» (кажется, что эти слова написаны сегодня, специально для современной выставки). «...И горы, и небо, и люди, и растения, и животные выступают как порождение одной стихии, как составные части единого плана, через посредство которого зритель начинает чувствовать биение живой единой земли».

Автором этих строк был Джурра — поэт и ученый Ю. Пославский, друг и единомышленник А. Волкова. В 30-е годы Джурра-Пославский был арестован и погиб в сталинских лагерях.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И ПОРТРЕТ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

Вспоминаю рассказ отца о Сергее Есенине: «Он вошел в открытые двери моей квартиры в Ташкенте на Садовой улице. Это было так неожиданно и так просто. Совсем юный, прекрасный, радостью сверкающий. Мы встретились, будто давно знакомые. Читали друг другу стихи, сидели прямо на полу и рассматривали мои акварели...»

Вот они, эти акварели, висят на выставке в паспорту под стеклом. А тогда Есенин сказал Волкову: «Так вы же наш, имажинист — мы вас при-



А. Н. ВОЛКОВ. 1886—1957. ГРАНАТОВАЯ ЧАЙХАНА. 1924.

нимаем к себе, художник Якулов против не будет!»

Когда я пришел на выставку «Москва — Париж», то увидел, что художник Якулов висит рядом с «Гранатовой чайханой» Волкова. Вот так встречаются люди во времени.

Портрет В. Маяковского Волков написал много лет спустя после их встречи, под конец своей жизни, как воспоминание. Он очень любил Маяковского. Отец рассказывал, что близкие друзья говорили о Маяковском, что он застенчив и раним. Когда Маяковский открыл выставку «20 лет работы», А. Волков вместе с группой ташкентских интеллигентов послал письмо в его поддержку.

Рапповская оглобля как инструмент художественной критики не раз возникала в сознании проработчиков и охранителей, и Волков испытал это на себе. Он искал альтернативу — в архиве отца я нашел листок, где его рукой написано: «Мы очень любим ссылаться на то, что обязаны говорить горькую правду нашим крупнейшим творцам. При этом мы

всегда почему-то воображаем, что наша правда — критиков — непременно выше их правды. Забывается совет Владимира Ильича Ленина: «Когда читая какого-нибудь крупного писателя, вы находите нелепым или неправильным то или другое его положение, предположите сначала, что вы до него не доросли и постарайтесь понять. Почти всегда от этого получится плюс» (А. Луначарский)».

«ХОЧУ ДАТЬ ПРОСТЫЕ, ЯРКИЕ И ПОНЯТНЫЕ КАРТИНЫ...»

Некоторые зрители меня спрашивали: почему после «Гранатовой чайханы» Волков так переменялся? Его заставили? Одни спрашивают искренне, хотят понять, другие — с ехидством. Сам Волков ответил на этот вопрос еще в 1933 году.

«Пройдя через ряд живописных течений — футуризм, кубизм, экспрессионизм, подошел к примитиву, в котором ввел систему треугольников, добиваясь простой, но крепкой и выразительной компози-

ции. Этот цикл был закончен в 1924 году картиной «Гранатовая чайхана»...

После этого работаю над темами «Горные кишлаки», «Старые города». Завершаю цикл в 1929 году картиной «Старая кузница» и перехожу к темам хлопка и строительства. Последний год работаю главным образом на темах Чирчикстроя.

В этой перестройке своего творческого пути, не утрачивая насыщенности тона и той большой красочности, которые свойственны моим прежним исканиям, я хочу дать простые, яркие и понятные картины, связанные с современностью» («Узбекистанская правда», 1933, 15 декабря).

Волею судеб через полвека именно эти картины, хранящиеся в музеях Москвы, Нукуса, Архангельска, Ленинграда, составили единый экспозиционный ряд.

БРИГАДА ВОЛКОВА

Я храню «характеристику мастера Волкова», данную ему товарищами, художниками, выступавшими на со-

брании оргкомитета Союза советских художников Узбекистана 19 и 20 ноября 1934 года, — своеобразное свидетельство демократизма тех лет, где есть и такие слова:

«Напряженная творческая деятельность Волкова, его борьба за чистоту большого искусства, против халтуры и лжи всегда привлекала к нему молодежь. Он создал вокруг себя творческую группу молодых художников, которая московской критикой была признана авангардом «изофронта Узбекистана». Ей свойствен свой особый национальный стиль, напряженное искание художественного языка живописи».

Для меня эта бригада была чем-то очень семейным. У. Тансыкбаев, Н. Карахан, А. Подковыров, П. Щеголев собирались в нашем доме каждый вечер, и я буквально вырос у них на коленях. Я не ходил в детский сад, но зато ходил с отцом к ним в мастерские, на выставки — с тех пор помню чудесные капланбекские пейзажи Урала Тансыкбаева или четыре тополя вокруг хауза — водоема с голубой водой — Н. Кара-



А. Н. ВОЛКОВ.
НАТЮРМОРТ. ЦВЕТЫ.
1944.

НАДГРОБНЫЙ ПЛАЧ.
1921.

хана. В Союзе художников диспуты, и я с мамой, Еленой Семеновной Волковой, — там, и, хотя часто засыпал на жестких стульях, до сих пор помню атмосферу оживления, споров и... табачного дыма. Мама была душой бригады, ей все поклонялись, и, естественно, что после каждого диспута отправлялись в наш дом пить чай, прямо на улице, за квадратным столиком на высоких ножках. Тогда же, в 1936 году, отец написал — теперь знаменитый — «испанский портрет» мамы. Все тогда были молоды. «Старейшему» — отцу — было под пятьдесят. Он был мастер. Признанный мастер. И учились у него, по существу, все. Вспоминаю его узбекских учеников: Х. Рахимова, Б. Хамдами — небольшого роста, с живыми глазами и особым цветом лица, Л. Насреддинова — высокого, тихого, с печальными глазами. Как-то, кажется, в начале войны, отец показал мне на выставке портреты Л. Насреддинова.

Их всех унесла война, но то, что

*Продолжение см.
на вкладке 3.*



КОГДА ЦВЕТЕТ ВИШНЯ

Андрей СОБОЛЬ



К. Г. Паустовский в повести «Золотая роза», в главе «Случай в магазине Альпванга», рассказывает: «Из старых, опытных писателей часто заходил к нам в редакцию только Андрей Соболев — милый, всегда чем-нибудь взволнованный, неусидчивый человек». Андрей Соболев — основной герой этой главы. Время действия — 1921 год, Одесса, редакция газеты «Моряк». «Старому писателю» было 33 года. Сейчас ему бы исполнилось 100 лет.

Его книги, его рассказы и повести хорошо знал читатель 20-х годов. Газета «Гудок», проведя опрос молодых читателей, вычислила ему номер один.

В краткой литературной энциклопедии говорится: «14 лет ушел из дому, скитался; в 1904—06 вел социалистическую пропаганду; в 1906 сослан в Сибирь. В 1909 бежал. Жил в Швейцарии, ездил по Европе. В начале 1915 пробрался в Россию, снова скитался по стране. После февральской революции стал комиссаром Временного правительства... Безнадежная попытка примирения двух «правд» и двух революций описана... в повести «Салон-вагон» (1922)».

Насчет ссылки в Сибирь — не совсем точно. Восемнадцатилетний мальчишка приговорен к каторге: Акатуй, Горный Зерентуй (там издавал и редактировал тайную тюремную газету «Овод»), знаменитая Амурская колесная дорога. Позже об этом вышли книги.

В своем повествовании о времени «Люди. Годы. Жизнь» И. Г. Эренбург вспоминает: «Андрей Михайлович Соболев редко смеялся, и улыбка у него была печальная... Я с ним познакомился в итальянской деревушке Кави Ди Лаванья, где почему-то обособились, вернее бедствовали, русские эмигранты... Не знаю, почему он был так печален, может быть, потому, что хлебнул в жизни горя, может быть, потому, что действительность не походила на мечты подростка... В 1923 году в «Правде» было напечатано «открытое письмо» Андрея Соболева. «В бурные, грозные годы, прошедшие перед нами, над нами и сквозь нас, ошибалась, спотыкалась и падала вся Россия. Да, я ошибался, я знаю, где, когда и в чем были мои ошибки, но и они являлись органическим порождением огромной сложности жизни. Безукоризненными могли себя считать или безнадежные глупцы, или беспардонные подлецы. В отсутствии глупости и подлости в себе я не нахожу повода для раскаяния...» Андрей Михайлович был человеком болезненным, с обостренно чувствительной совестью, добрым, мягким...»

Добавим: когда впервые в нашей стране был создан Всероссийский союз писателей, Андрея Соболева избрали его секретарем. Им подписан членский билет № 81 на имя друга — Сергея Есенина. Гибель Есенина А. Соболев воспринял тяжело, что дало повод М. Горькому для горестных — сбывшихся — предсказаний. 7 июня 1926 года Андрей Соболев «случайным выстрелом», как писали газеты, покончил с собой в Москве, на скамейке Тверского бульвара.

В 1928 году издательство «Земля и фабрика» выпустило собрание сочинений А. Соболева в четырех томах. С тех пор писателя в нашей стране не издавали.

К сожалению, мы до сих пор представляем несправедливо забытых писателей, так сказать, «обоймами». А. Соболев в «обойму» укладывается с трудом. Наша публикация — первая попытка вернуть читателю большого русского писателя.

I. БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ.

Город мерз, коробился и застыл, как бряква, вышвырнутая за окно.

С утра до утра висел над городом сизый туман — покрывало, сотканное морозными стежками вперемежку с белесым дыханием приплюснутых труб.

И было все, как вчера, как пять, десять дней тому назад.

В партере гомозились полушубки, шинели, кожаные куртки на меху, будоражные папахи кренились то влево, то вправо — откуда лучше видать. В проходе вился мокрый, снежный след: густо отпечатывали валенки, сапоги и бродни свой зимний шаг. Меж креслами текли лужицы; всплакнув, оттаивали валенки в ожидании тепла, света и музыки, чтоб потом опять уйти в ночь, в снег, в темень, потонуть в сугробах.

На мраморной выщербленной стойке театрального буфета ледяными слезами слезились на двух блюдах конфетки-монпаншишки, скулил позеленевший самовар.

За кулисами Эскамильо дул в посиневшие кулаки, Хозе стоваривался с губнаробразом о концерте во «Дворце Коммуны». Губнаробраз, оперный покровитель, сам флейтист-любитель, обещал полпуда пшена и ордер на шапку с наушниками.

Стуча каблуками, бежала сверху, из женского холодильника, Кармен — из-под арестантско-серой бекеши выбивался платок, пестрый, как майдан, ноги в туго натянутых красных чулках нетерпеливо и зябко ждали звонка: чулок о чулок терся.

И было все, как пятнадцать, двадцать дней тому назад, — бумажный цветок в волосах, бумажный цветок во рту, мреют мутные, точно госпитальные, лампы, и муть в голове, и муть в глазах...

Но помни, Кармен: ты и сегодня должна смеяться и завлекать, плясать и ускользать сигарным дымком, потому что в честь тебя по-медвежьи топают обмякшие валенки.

Кармен, скорее бумажный цветок в копну буйных черных волос, скорее цветок бумажный в измученный, усталый рот.

Потом, потом в своей холодной комнатке на улице Карла Либкнехта ты плотно замкнешь его, зубы стиснешь и ничего не ответишь управделу Совнархоза, который несет к твоим красным нездешним чулкам свою управдельческую, смешную, здешнюю, с купонами на сливочное масло, с совнаркомским пайком, но такую пламенную любовь.

Ты не хочешь бумажной любви.

Ты так и сказала ему в воскресный, свободный от папок и ордеров день, и опять плакал по исходящей управделу, и за каждую слезинку его расплачиваются потом лиловогобубе машинистки.

И было все, как вчера.

Бумажный цветок целовал Хозе, пряча его на своей тенорской, ячневой кашей попорченной груди, сигаретницы курили бумажные сигары и вихляли тощими бедрами.

И вдруг: стук в дверь женского холодильника, и входит в уборную мохнатая бурка с башлыком малиновым, а поверх бурки, поверх башлыка (будто тоже театрального) такие знакомые — чьи, чьи? — непостижимо знакомые глаза.

И голос — за далью лет как бы чужой, но каким-то своим, присущим оттенком близкий.

Только на одну минуту уйти в себя, одним мигом охватить: годы, Москву, Зиминский театр, ту неуклюжую каменную пустошь, доломан гусарский на углу Кузнецкого, письмо мужское — напорное, настойчивое, как настойчив был гусарский наскок в антракте между двумя действиями, — третье, пятое письмо и цветы; чуть вялые после оранжерейной холи, — снопы цветов в морозное московское с колокольным звоном, праздничное утро.

И стремительно, безудержно всплеснулись, ринулись руки к мохнатой бурке:

— Сомов!

Слегка пригнувшись, бурка ответила сдавленно:

— Да, это я. Здравствуйте, Марина Петровна.

Преодолев жестяной насморк, трубы гремели во славу тореадора.

Перебивая друг другу шаг, испуганно-суетливо проходили щупленькие молодые еврейчики — испанские пикадоры и бандерильеры — и, словно книжками по пути из библиотеки, помахивали деревянными копьями.

В пустой уборной Кармен перед гвоздем, где обычно висела ее бекеша, замер в отчаянии помощник режиссера. На полу валялся бумажный цветок — смятый, истерзанный.

II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПИГАЛИЦА.

Горячо, с посвистом огнем пышет печурка в комнатке на улице Карла Либкнехта.

Вздулись обои от неожиданного тепла, живая рябь пошла по мертвому зеркалу.

Пышет печурка второй день, кипит на ней кастрюлька с вином, плавится сахар, корица пряно простится в жаркую плывь, два стакана рядом, два стакана звенят: пьет Кармен за новую жизнь.

Мохнатая бурка кинута на постель, на мохнатой бурке, в путанице черных завитков, вперемежку красные чулки, малиновый башлык, белая подушка: пестрядь, минутный привал, чтоб не жалко было потом покинуть его и, раздвинув оледеневший оскал города, пронестись в визге полозьев сквозь предвечернюю блеснь мимо безличных домов к заставе и дальше — куда, куда?

Уронив голову на плечо Сомова, Марина полулежала в санях, раскинув руки.

Из-под платка оренбургского, пухового (где только раздобыл его Сомов, чего только не приволокла мохнатая бурка!) по ветру билась посеребренные пряди волос, бледным румянцем горели чуть смуглые щеки, едва шевелились полуопущенные ресницы. А когда вдруг приоткрывались они, чтоб, поднявшись, вновь опуститься от сладкого бессилия, затуманенные глаза силились напоследок понять, осмыслить:

— Куда, куда ты меня везешь?

И никли: расстилался бескрайний белый плат снегов, под белым платом чудесно и сладостно не думать, не мыслить, не гадать. Летела земля, летели пригорки, то вскочив с разбегу, то падая вниз, и тогда вместе с ними, стремглав, стремглав, падало небо. И, блаженно улыбаясь, говорила Марина, чуть придушенно, как спросонья, от одного слова до другого задерживаясь:

— Вези, вези, куда хочешь... Как хорошо... Будто крылья за спиной. Все равно куда, но вези. Устала я. Пайки... зубной порошок вместо пудры, крысы в уборной. Чудно: Миша Сомов и я. А я тебя отталкивала, над письмами твоими смеялась. Теперь ты посмеешься... Я голодная, государственная... пигалица. От прежнего только песни. И то не те. Согреть, накормишь и бросишь. Скажи, бросишь? Ты кто: краском? Жулик? Или комиссар очень важный? Все равно... Все равно... Сладко... Дух захватывает... Вези, вези, куда хочешь.

Тянулся, тянулся белый, неведомый, неведомо-белый путь.

На рассвете проснулась Марина: серел вокзал, озябшими собаками лаяли натужно одинокие паровозные гудки. Молча повел Сомов Марину рельсовыми разулочьями.

Догорали скупые, припавшие вплотную к земле редкие огни плоских сигнальных фонарей, мычали быки в хвосте застрявшего воинского эшелона, вокруг двух-трех жиденьких костров переминались,

точно стреноженные, сонные красноармейцы, сумрачно выползали из снежно-мутной каши пакгаузы, будки.

В нетопленном, искалеченном миксте Сомов сказал Марине:

— Жди меня. Я скоро вернусь. Будут спрашивать — запомни: никакого Сомова нет. Зовут меня Валико, а по фамилии Цавашвили. Я грузин, и ты грузинка-жена. Но ты больна и не встаешь.

— Хорошо, — покорно ответила Марина и легла на бархатные лохмотья.

Точно капля с колодезного сруба, падали в пустоту и в пустоте исчезали минуты, часы.

Холод, окно в купе застлано, зимний заслон повис сверху донизу — все, как в уборной Театра имени Луначарского: и стужа прежняя, и прежний запахок нежилого квадрата, и те же елочки на стекле, и если подышать на них и в причудливой вязи дырочку просверлить дыханием прерывистым, беспокойным — что увидишь: новую смену старых декораций?

Падали капли...

«Театр, опять театр», — проговорила про себя Марина и крепко, до боли, — туже, туже затянула на себе платок, сдавливая виски, щеки, губы...

Бекеша... вдоль истерзанного диванчика... Под бекешей комок: и не шевелится.

Кармен, где твой бумажный цветок?

III. КОГДА ЦВЕТЕТ ВИШНЯ.

В вишневых садах тонул Белый-Крин — оторвался от степи, махнул на нее рукой, на выжженные просторы ее и укромно укрылся под розовеющим навесом, трепетным, зыбким.

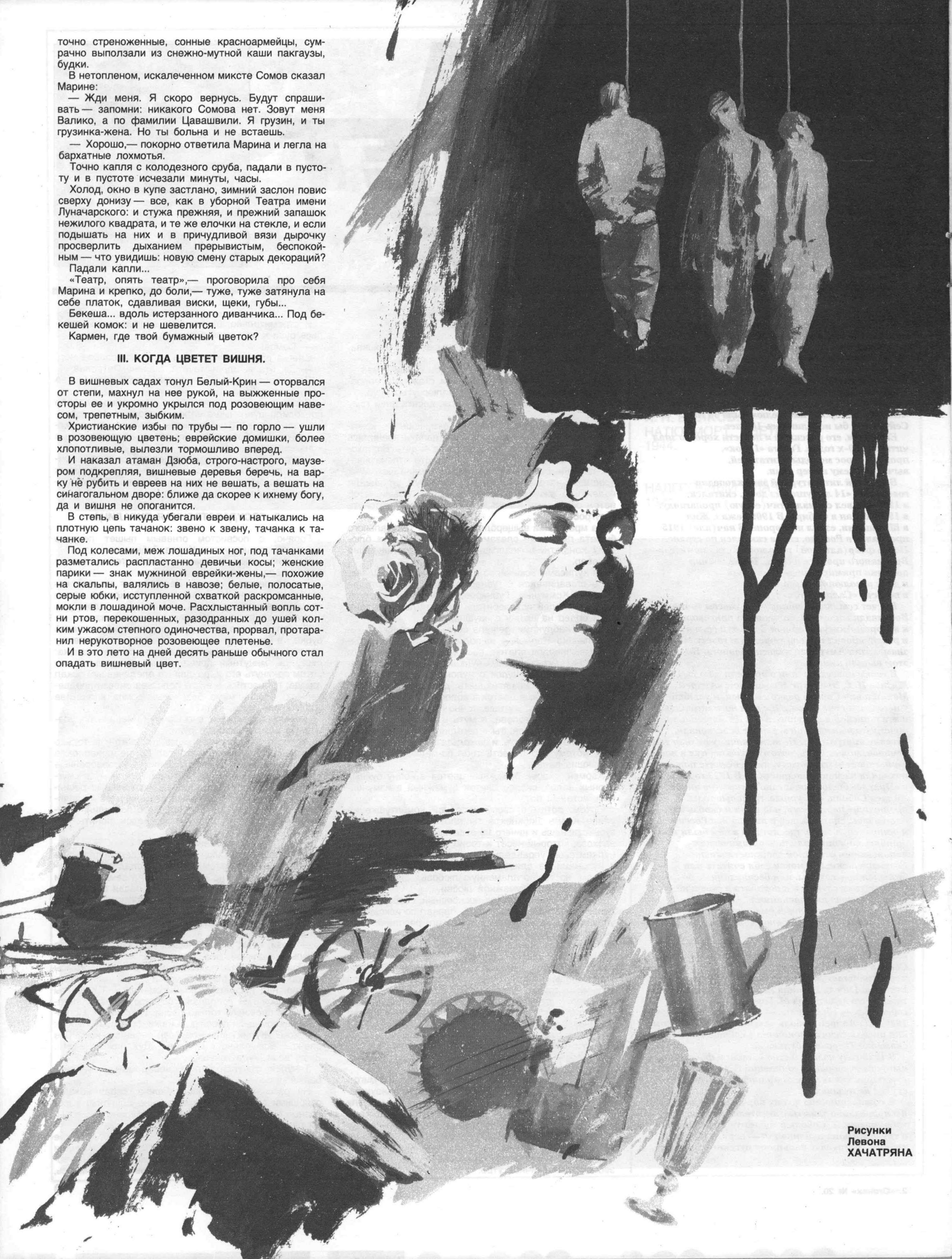
Христианские избы по трубы — по горло — ушли в розовеющую цветень; еврейские домишки, более хлопотливые, вылезли тормозливо вперед.

И наказал атаман Дзюба, строго-настрою, музеем подкрепляя, вишневые деревья беречь, на варку не рубить и евреев на них не вешать, а вешать на синагогальном дворе: ближе да скорее к ихнему богу, да и вишня не опоганится.

В степь, в никуда убегали евреи и натывались на плотную цепь тачанок: звено к звену, тачанка к тачанке.

Под колесами, меж лошадиных ног, под тачанками разметались распластанно девичьи косы; женские парики — знак мужниной еврейки-жены, — похожие на скальпы, валялись в навозе; белые, полосатые, серые юбки, исступленной схваткой раскромсанные, мокли в лошадиной моче. Расхлыстанный вопль сотни ртов, перекошенных, разодранных до ушей колким ужасом степного одиночества, прорвал, протаранил нерукотворное розовеющее плетенье.

И в это лето на дней десять раньше обычного стал опадать вишневый цвет.



Рисунки
Левона
ХАЧАТРЯНА

Белый-Крин полюбился Дзюбе, и в первый же день послал он Бужака, сотника, командира первой конной сотни, вороной, к Сосунцу, к правобережному, сказать, что летовать и зимовать будет в Белом-Крине, стены строить, становище крепить и что просит Сосунца и всю его братву к себе в гости, на новоселье, чайку выпить с дзюбинской молодой вишней, а потом сообща чесануть на Голту, на Вознесенск.

Бужак отнекивался, просил взамен другого послать, а его оставить: сотню свою подтянуть, ибо стали вороны слишком волеваться, не слушаясь командира.

Но прикрикнул Дзюба — и понуро вышел Бужак из хаты.

А когда возился с кобылой, подпрыгнул ладил, потник примасивал, низко гнул, чтоб дрожанье губ спрятать: щерилась верхняя губа, нетерпеливо ерзали зубы, точно перемалывали, изголодавшиеся, долгожданную пищу.

И стиснул их Бужак и разгрыз едко-злую усмешку, а хвостик усмешечки ускользнул и, увильвая, заиграл под короткой щетиной жестких солдатских усов.

Для себя Дзюба занял докторский флигелек; домик равнина отвели первым трем сотникам: штаб; аптеку — фельдшеру, беглецу из красных рядов, под лазарет, а синагогу под командирских любимцев-коней, — у амвона заржал серебристый в яблоках жеребец Дзюбы, Могильщик, в сафьяновых ногавках; во дворе висели рядом: старичок доктор, аптекарь, раввин и синагогальный служака. Немного погодя привели еще десятка два евреев, молодых — «большевиков» вешали с пристрастием: сперва били култышками по детородным местам, потом заставляли целовать икону и отказываться от коммуны.

В квартиру доктора нагнали баб-хохлушек: мыть полы, кипятком ошпаривать мебель — смывать жиновскую нечисть, чтоб мог атаман расположиться со своей женой на долгое и покойное житие.

На грани степи и Белого-Крина расступились дозорные тачанки: пропустить дзюбинскую рессорную карету.

На крыльце докторского домика враскоряку стоял Дзюба: ждал. Вздвухались шарами синие широченные шаровары, алели крестики кривого шитого ворота косоворотки, лоснилась бритая, с сизым налетом голова, породистый рот (будто с другого, с чужого лица снятый) наглухо замыкался. Близко стучали топоры: новую перекладину мастерили на синагогальном дворе.

Подкатила карета. Дзюба, покачиваясь, сошел вниз, дернул к себе дверцу — взметнулась тонкая юбка, шелк зашуршал, мелькнули красные чулки, рванулся высокий желтый гребень из тугого узла черных волос.

И чулки, и переливы шелка сгреб Дзюба в охапку. Но гребень уперся в алые крестики:

— Отпусти. Ноги есть.

Дробь каблучков рассыпалась по крыльцу, дальше покатилась — в комнаты.

И дробный перебой смолк вместе со скрежетом ключа, дважды перевернутого в двери бывшего докторского кабинета.

Дзюба пхнул сапогом насторожившуюся дверь:

— Марина, не балуй.

Заколыхались синие шаровары.

— Марина, открой! — и обмякли, сплюснулись.

И слышно было, как за дверью полетели на пол туфли, гребень, как стукнуло окно, закрываясь, как закричала кровать.

Поздно вечером Марина сползла с постели, распахнула окно и, обомлев, застыла у подоконника: не переставая, не умолкая, не затихая, одной длинной, длинной, ровной, тягучей нотой плыл над Белым-Крином стоустый плач — в степь, в безлюдье, в ночь гнали дзюбинцы уцелевших евреев.

В ночном трепете, в вишневых садах заколдованно ник Белый-Крин; за палисадниками, из окон христианских мазанок ложились на зелень полосы света — забытые, будто пращи туманные.

И падал дождь неторопливый из лепестков белых, преждевременно умирающих.

IV. ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ.

Полуночные сотники развели своих людей по домам покинутым. В полдень приступили к закладке крепостной стены: десятки подвод затарахтели к северу, к ближайшей каменоломне. На базарной площади поп служил молебен. Дзюбинцы, почистившись, принарядившись, сомкнулись плечом к плечу и не шевелились, только мелькали трехперстные руки, сотники на своих местах командирски охорашивались, гудел колокол. Дзюба, пеший и строгий, стоял впереди, и рядом Марина, янтарился под солнцем высокий гребень, Марина сутулилась, глаза норовили к земле.

— Стой прямо! — хриплым шепотом кинул Дзюба. — На людях стоишь!

Марина выпрямилась, отхлынула кровь от лица, смуглота щек побледнела, и, будорожа яркие разводы, в бахрому платка судорожно впились пальцы, ненавистью и яростью сведенные.

И этим же пальцам приказано было под вечер перебирать гитарные струны.

— Не буду петь. Ни для тебя, ни для твоих негодяев, — сказала Марина и отшвырнула гитару.

Жалуюсь протяжным стоном, упала гитара, горестно распластались ленты, словно косы оскорбленной женщины.

Дзюба нагнулся за гитарой. Долго поднимал ее, долго, — невелика будто тяжесть, а набухал, багровел бритый затылок.

А когда Дзюба разогнулся, было лицо его блее белое чесучового праздничного бешмета.

И побелевшее, уже нечеловеческое лицо вплотную придвинулось к другому, встало над ним, налегло на него, как налегли на отшатнувшиеся женские плечи тяжелые руки.

— Будешь петь! И плясать будешь!

Сузились плечи, чтоб... вскоре, налившись глухим бессилием безудержного гнева и отчаяния, округлиться, распрямиться, завертеться, закружиться в тесном кольце подрагивающих колен, прыгающих бород, разверстых ртов, взбухших колбас, распотрошенных окороков, липких барилок, потных рубах, шершавых рук, вонючих носогреек, жирных сапог, похотливых шаровар, опрокинутых чарок и взмокших усов.

Пляши, пляши, Марина: восемь сотников пьяны тобой (девятый, Бужак, в эти минуты по степи скачет и тоже пьян, но другим, другим опьянением; девятый, Бужак, цепкими горстями пьет хмельную радость; девятый, Бужак, к заветным кострам несется, чтоб там рапортом коротким радость свою расплескать и тут же взять ее на цугундер, свернуть на послушание, как сворачиваются на послушание воинские шинели).

Пляши, пляши, Марина: восемь сотников пьяны тобой (девятый, Бужак, тоже пьян, но другим, другим опьянением, — ищи, ищи-ка ветра в поле!), десятый, Дзюба, глаз с тебя не сводит. Так глаз не сводил с тебя гусар Миша Сомов в первом ряду Зиминского партера, когда ты лежала на коврике и гадала на картах — напорочили тебе, нагадали тебе карты жуткую древнюю женскую русскую долю с санным путем, с разбойничьим посвистом, с виселицами и мукой ночной в жаркой постели с опостылым.

Пой, Марина, потому что поздно уже, поздно плакать о том, что мохнатая бурка и малиновый башлык, в зимнюю вечернюю стужу тепло и чудо принесшие (а как хорошо было когда-то под этой буркой нежиться!), обернулись ненавистным белым бешметом и подлыми посеребренными пуговицами.

Кружит, кружит голову неумная, бессильная ненависть... Кружилась, вертелась, извивался пестрый, как восточный базар, платок, бахромой мазал по волосатым губам, и тогда летела в сторону очередная табуретка, и ярая рука, вынырнув из шаровар, пыталась схватить, поймать ускользающий живой волчок.

Два сотника помоложе, расставив ноги, пригнувшись, остервенело тискали, мяли, дергали гармошки, и гармошки, точно девки, которым в кустах озорно груди ущемили, визжали с вскриком. Издали из вишневых садов ответно отзывались другие гармошки, тренькали балалайки, неслись женские податливые гульливые смешки: дзюбинские хлопцы водили ночные свадьбы.

И, в последний раз пристукнув каблучками, Марина, шатаясь, кинулась к двери; в спину, вдогонку понесся вой обманутой.

— Дзюба! — исходил слюной, перегаром и гнусаво скомканым криком сотник второй пешей сотни — безносый, плоскогубый, выструганный сифилисом Митнюк. — А с песнями как? Мать твою в облу! Гостей надувать? Гостей не уважаешь?

Дзюба перебил дорогу Марине:

— Теперь пой! — И ухо ожег огненным, спиртом и страстью перевитым шепотом. — Мою любимую... из первого действия.

Марина прикрыла глаза, в стиснутых зубах свистело неукротимое дыхание.

— Дай гитару! — тихо проговорила она, не открывая глаз, а когда открыла, обвела комнату исподлобным, искушенным взглядом и крикнула Дзюбе: — Садись посередине.

Отметая все по пути, Дзюба расчищал место; на середину вколотил стул, уселся верхом, на спинку стула легли локти, а над локтями повисли, натекая, воспаленные глаза — две впадины, смолой облитые. Гогоча, отходили сотники к стенке; детское любопытство пробивалось сквозь икоту и пьяную дурь.

Кошачьей повадкой метнулась Марина на середину, охаживая стул, белый бешмет, лакированные сапоги; в руках у нее истощено заныли первые переборы гитары, но тут же, нытье отшвырнув, обернулись лукавым перебором, и взмыл поверху дразнящий, завлекающий, густой, словно из сот вытекающий, грудной, низко глубокий голос:

Любовь свободна, мир чаруя...

Дрогнули белые чесучовые локти...

Законов всех она сильней...

В кругу кошачьих извивов душно, душно бешмету. Все туже и туже круг... крепче, крепче надавливают локти спинку стула.

И потек голос, едко, угрожающе выговаривая:

Меня... ты любишь, я ненавижу,

Так берегись...

С треском разлетелась спинка стула.

И, рванув к себе Марину, подбросив ее на руках, смяв, скомкав, подбородком налегая на ее грудь, Дзюба прыгнул к двери — к докторскому кабинету, к постели.

— Ненавидишь? Ты так? Из песни слов... Ведьма... Не выкинешь. Ведьма... Счастье мое... Кармен... Любовь моя...

На крыльце грохотали сапоги: спотыкаясь, чертыхаясь, воя от вожделения, сотники мчались к вишневым садам — искать горячую женскую плоть.

V. СТРАННЫЙ ЖИД.

К концу недели вернулся Бужак.

Привез он согласие Сосунца и подарок: доложил Бужак, что следом идут подводы со спиртом — два винокуренных завода обчистил Сосунец на том берегу, завтра будут подводы тут как тут, под охраной едут бочонки: ни утечки, ни усушки.

И еще привел с собой Бужак человека одного: встретил его в степи, тот спрашивал, как вернее к Белому-Крину добраться — для разговора одного, для дела одного.

— А кто он? — спросил Дзюба и мельком взглянул на Марину; скрючившись, Марина уткнулась в угол дивана (опять, опять спит, все спит да спит).

— Жид.

— Кто? — хрипнул Дзюба и обернулся к двум сотникам, что были в комнате. — Поглядите на дуrolома. Не подстрелил, да еще сюда приволок.

Бужак ухмыльнулся.

— Да у него винтовка не хуже моей. И конь как будто ничего. И хорошо, жидюга, языком чешет. Поговорили едучи. Собой он как бы вроде дурачка. Позвать, что ли?

— Зови! — буркнул Дзюба и привстал, когда на пороге неторопливо, спокойно показался невысокого роста, под гребенку стриженный, с белокурой бородкой, худощавый человек, на ходу (так же неторопливо) снимая с плеча винтовку.

Блеснули очки.

— Очкастый! — по-бабьи взвизгнул один из сотников и покатился. Пришедший рассеянно поглядел на него и направился к Дзюбе, неподалеку от стола присел, прислонил винтовку, попробовал, не кренится ли она, снял очки, подул на стеклышки и только тогда повернулся к Дзюбе.

Дзюба, упираясь кулаками в стол, кривился и ждал. По-видимому, чего-то ждал и пришедший.

Тогда Дзюба выдал из себя натужно:

— Ну?

Пришедший снова снял очки, прищурился и негромко, но отдельно сказал:

— Renvoyez vos imbéciles.

На диване встрепенулся комок, развернулся — Марина приподнималась: жадно скользнув загоревшимся взглядом по лицу пришедшего, еще с большей жадностью впились в Дзюбу.

Дзюба грудью налег на стол. Стол затрещал, навалился на пришедшего. Пришедший, не отодвигаясь, продолжал сидеть; старательно вытирал очки и рассеянно улыбался. Дзюба нащупал на поясе револьвер, сгреб его — и разжал пальцы, и дрожь их припрятал за воротом рубахи (давит, давит ворот... жид проклятый... какой выговор французский... пристрелить как собаку) — и обратился к Бужаку, к сотникам, не глядя на них:

— Шкандыбайте, хлопцы. Я уж с ним поговорю! — и невесело, через силу рассмеялся.

Пришедший надел очки и обхватил колени сухими руками, острой бородкой подавшись вперед.

— Теперь другое дело. Теперь мы можем поговорить.

Дзюба поглядел на Марину, та опустила голову, упали руки, упала тень от ресниц на побледневшие щеки.

Пришедший поймал взгляд Дзюбы и проговорил: — Мадам может остаться. Мадам не помешает нам. — И снова мелькнула рассеянная улыбка.

Марина покраснела; в угол дивана обратно уполз комок, но уже трепещущий, ожидающий и потрясенный.

— Кто вы? Как вас зовут? — с усилием спросил Дзюба.

— Марат.

— Жидов с такими именами не бывает.

— Я анархист.

— Вы жид! — крикнул Дзюба. — Это по носу видно.

Марат поглядел на свои руки и вскинул глаза.
— Да, я был зачат евреем. В прошлом меня звали Меерович. Но мир треснул. Меерович теперь пустой звук, клопиная шкурка. Марат — это труба, возвещающая новую эпоху. Марат — это осьминог великой идеи: восемь щупалец вокруг всех частей света, сжать земной шар и, как детский глобус, опрокинуть его.

— Вы странный жид, — чуть мягче сказал Дзюба.
— Такой же, как вы батько.
— Я повешу вас! — гаркнул Дзюба. — Я всех жидов вешаю!

— И это ваша задача? — раздумчиво проговорил Марат. — Я вам дам другую.

— Почему вы заговорили со мной по-французски? Кто вам сказал, что я не...

Марат, как бы защищаясь от нападения, заслонился рукой.

— Не надо об этом.

— Что вам, наконец, нужно от меня? — грубо рванул его Дзюба за край пыльного френча.

Марат медленно освободил свой френч и сказал:
— Не надо лишних телодвижений. Мы одни, и можно оставить пейзажные замашки. От вас? Все! Я пишу книгу об анархии. О новой, еще никому не ведомой. Каждую строчку моей книги надо претворить в жизнь. Мои формулы должны обратиться в живоносные артерии. Мои формулы должны начать пульсировать. В них есть математика, но нет крови. Мои выводы нуждаются в проверке.

— А я вас все-таки повешу, — медленно сказал Дзюба. — Я ненавижу все: Россию, мужиков, книги, нашу дворянскую белую мразь, красных пророков из газетной подворотни, жидов, теории.

— И себя? — так же медленно спросил Марат.

— И себя! — качнул Дзюба сизым костяком, направляясь к выходу, и вдруг громко захохотал, шершаво, точно горло струпьями обросло. — Проверка? Будет проверка! — И опрометью высунулся по пояс в окно, гаркнув бешено: — Митька, подать мне Могильщика! Живей!

И снова на диване встрепенулся комок: Марина вскочила на ноги, — но уже шел Дзюба назад от окна, и нехотя, грузно попятилась Марина.

Дзюба подошел к Марату и смерил его с ног до головы.

— Слушайте, вы, тщедушный осьминог...

— Да, это правда... — улыбнулся Марат, и от этой полувиноватой, полусмущенной улыбки лицо его стало похожим на лицо самого обыкновенного еврея-экстерна, из тех, что когда-то сдавали латынь при округе и, пламенея, робко бормотали: *rosa, rosae, rosis*. — Я действительно ростом не вышел.

— Так вот... Пульсация формулы? Так вот: вы на коня, я на коня. Кругом Белого-Крина. Я обгоню — висеть вам, вон там, где уже висят у меня ваши родичи. Вы обгоните — не трону. И... и... и даже поговорим. Честно предупреждаю: мой конь — зверь. По шерстке кличка: Могильщик. Загонит вас в могилу. Идет?

Марат потерев бородку, задумчиво обвел комнату ушедшим в себя взглядом, на короткий миг задержал его на Марине, точно запнулся или что-то вспомнил и сказать хотел, увидав застывшее в скорби лицо, и ответил:

— Хорошо. Я согласен. Это мной не предусмотрено было. Но это вроде иллюстрации к моему тезису о примате личности. В первой главе моей книги, раздел второй...

VI. «МЕЧТА АНАРХИИ».

Гнедая кобылка, низкорослая, на привязи, мирно пощипывала траву. Марат и Дзюба вышли на крыльцо. Позади, как бы собранная в один тугий узел, кралась Марина, при каждом движении Дзюбы сторожко откидывалась назад, чтоб снова и снова, неотступно, по-кошачьи, бесшумно продвигаться.

Дзюба глянул в сторону кобылки:

— Ваша? Как зовут?

Задорно, как почувдилось Дзюбе, сверкнули очки.

— Мечта Анархии.

Дзюба вспыхнул:

— Жидовская мечта! Дрянь кляча. Ей бы лапсердак вместо седла и зонтик взамен мундштука. А-а-а! — Дзюба всем корпусом выдвинулся вперед и жадно облизнул губы. — А-а-а, моего ведут, зверюгу мою.

Из-за угла вынырнула серебристая, вольно и гордо посаженная шея, серые яблоки покатались по крутым бокам, на поводу прыгал Митька-конюх, упираясь о землю голыми пятками, приближался Бужак, кое-где в одиночку показывались дзюбинцы. Гнедая кобылка очумело заметалась на привязи. И, кинув напорное и ненасытное ржание, Могильщик вырвался из рук Митьки, раскосил вмиг оплывшие кровью глаза и понесся, копытами отчеканивая звериное желание.

Дзюба ахнул, спрыгнул с крыльца и кинулся наперерез, но Могильщик отпрянул, приподнявшись

в воздухе, вычертил дугу и вкось пустил по ветру строптивую, вздыбленную гриву. Не рассчитав, Дзюба грохнулся оземь, и как бы в злом упоении на крыльце всколыхнулся платок.

А когда близко, у самого крыльца мелькнул серебристо-матовый окатистый круп, Марат, так и не покидавший крыльца, слегка присел и сорвался с места. Горько и сдавленно вскрикнула Марина, и слабый крик ее потонул в цоканье копыт, в облаке пыли. Минуты через три в руках Марата Могильщик мелко задрожал от холки до хвоста, но уже покорный, послушный. Издали Бужак ухмылялся, ухмылялся, уже не таясь, а потом быстро завернул за избы и вишневыми садами побежал к степи.

Дзюба поднялся, подошел к Могильщику и плюнул ему в глаза.

— Отдать его обозным! — крикнул он Митьке и обернулся к Марату. Марат, присев на корточки, сокрушенно шарил по траве: искал очки; беспомощно шурились на свету глаза в щелочках с краснотой, белокурая, в пыли борода свисала путаной мочалкой, с плеча полз книзу ободранный в схватке рукав.

— Вы свободны, — сумрачно процедил Дзюба и, как недавно в комнате, оглядел Марата с ног до головы. — Победитель вы жи... — И криво и скверно усмехнулся. — Живописный.

И впервые за все время однотонное, будто всегда пеплом посыпанное лицо Марата изменилось: пошло попеременно красными и синими пятнами; задрожали белесые веки.

И тихо и брезгливо он проговорил:

— Солдафон! Когда вы гарцевали на армейских попойках, я в прериях месяцами не слезал с седла и наземь не падал. — И, не оглядываясь, пошел к крыльцу.

Одним прыжком Дзюба настиг его, Марат уже заносил ногу на нижнюю ступеньку.

— Вон! — прохрипел Дзюба. — Уезжай немедленно. Я слово дал. Уезжай... Я за себя не ручаюсь.

— А наше дело? Как с ним? — И Марат повернулся к нему прежним — пепельным, спокойным — лицом, на котором бродила, точно заблудившись раз навсегда, рассеянная, не то грустная, не то бесповоротно безумная улыбка.

— О-о-о! — замотал Дзюба головой. — Тошный ты!..

А когда Марат уже сидел в седле и Мечта Анархии, дожевывая клоч травы, лениво-протестующе поводила мордой, Марина, точно птица, у которой в неволе вдруг выросли крылья, сорвалась с крыльца и промчалась птицей — птицей, почуявшей открытую дверцу клетки, — мимо Дзюбы, только платком задев его, к Марату, уже на ходу крича:

— Подождите! Подождите!

И кричала, спиной прижимаясь к ногам Марата, назад, через плечи свои, руки забрасывая, алчущими пальцами лова помощь, надежду, защиту, а лицом пылающим к Дзюбе, глазами несатыми к Дзюбе, глазами ненавидящими к Дзюбе.

— Возьмите меня с собой!.. Я не жена ему! Зверь! Зверь! Уведите меня! Я полюблю вас!.. Зверь! Я уже вас...

Сдирая с себя ремень, словно полоску с живого, трепещущего мяса, кромсая кобур, Дзюба выхватил револьвер.

Сотни раз умирая тигрицей на всех театральных подмостках от Читы до Москвы и от Москвы до Житомира, в последний раз умирала Кармен на траве, неподалеку от виселиц, под вишнями Белого-Крина, умирала жалко и безнадежно, как бескрылая птица, как пигалица, подшибленная, смятая вихревой, огненной бурей.

Вечерело...

По степи ложились густые тени, словно плуг неведомый извлек из-под травы черные бархатные полосы и уложил их рядом, полосу за полосой. Все глубже и глубже уходило небо в высоту. Четко чудесно и волнующе возник в глубине Пояса Ориона. Марат оглянулся: далеко позади расплывалась и таяла последняя вишневая купа Белого-Крина. Марат опустил поводья и поднял к горящему Поясу близорукие, подслеповатые, но широко-широко раскрытые глаза.

Мечта Анархии дернула мордой, удовлетворенно фыркнула и уцепилась влажную росную траву.

VII. ОДНИМ СЛОВОМ...

Поздно ночью Митнюк рыскал по Белому-Крину, шарил по вишневым садам, выуживал сотников из кустов, отрывал их от дебелых бабьих грудей, от разморенных молодых и волок их к атаману: всех сотников созывал Дзюба на спиртное раздолье, на остаточки (завтра новый спирт будет: едут сосуноцские бочки), на бражный разлив, за упокой души новопредставленной.

Всех подобрал Митнюк, только Бужака не мог найти.

— Б-у-ужа-а-а! — долго надрывался в вишене гнусавый голос. В ответ только тренькали балалайки, летала матерщина и уплывали из-под самых ног гульливые женские смешки.

И опять в докторском домике завоняли трубки, застучали жирные сапоги, запрыгали бороды, кроваво зазияли раздвинутые рты, запотнели рубахи, растопырились окорока и зазвенели кружки.

И опять Дзюба швырнул стул на середину, снова сел верхом, упираясь локтями о спинку стула, и заклокотал, заревел, выкатив на белые локти бешено-пьяные глаза — две впадины, облитые смолой, кровью, сумасшедшей мукой.

— Марина, пляши!

И тут как тут на пороге, на свету зачернел Бужак. Митнюк, опрокидывая снедь, бутылки, потянулся к Бужаку через стол:

— Бужак... Стерва. Да я тебя шукал. Живем!

— Есть! — ухмыльнулся Бужак во весь рот. И внезапно, мигом посерел, подтянулся, шагнул к середине и, срываясь с голоса, крикнул:

— По приказу социальной и коммунальной революции!.. Мать вашу! Одним словом, ни с места! — И приставил маузер к бритому затылку Дзюбы.

В окна, в двери прыгали, лезли, скакали, напирали шинели.



Юрий
РОСТ

Уже сам поиск жилья прокопьевского самостоятельного философа и художника Селиванова свидетельствовал, что человек он штучный. Обитал Иван Егорович, по собственному его письму, в упомянутом городе, в поселке Урицкого под номером дома, скажем, тридцать шесть. Следовательно, располагаться он обязан сразу за тридцать пятым номером, поскольку все дома по одной стороне. Однако ж дома на месте, отведенном ему простым порядком чисел, не было. Шел за тридцать пятым немедленно тридцать седьмой, тридцать восьмой и тому подобное...

Дом Ивана Егоровича Селиванова стоял вовсе вне рядка, а именно в стороне, в лощинке и представлял собой одноэтажное строение, обнесенное высоким забором, составленным как бы из муравейного мусора, только в человеческом видении масштаба.

Сам хозяин сидел в доме за затвором и на стук не отпирал, поскольку обдумывал очередное художественное произведение живописи или осторожную, пугливую мысль, шархающуюся вон из головы при постороннем шуме.

Некоторое время тому назад Иван Егорович стал известен своими картинами в Москве и некоторых других мировых столицах, в том числе и за океаном. Специалисты называли его искусство «примитивизмом», а чтоб это слово не обижало восьмидесятилетнего старца, ссылались на уважаемые в миру имена уславивших это течение живописи, а именно: Нико Пироманашвили (фамилию которого Селиванов хоть и не враз, а выучил) и Анри Руссо — этот из Франции.

В борьбе за жизнь и в наблюдениях за жизнью текли дни Ивана Егоровича, и он, разведя чернильный порошок, записывал свои наблюдения и философское их осмысление, упоминая о себе, как правило, в третьем лице. И рисовал, когда не холодно.

Из Москвы ему писали задания, рожденные образованными людьми, наблюдавшими, а порой и направлявшими народных мастеров, и Иван Егорович выполнял задания, а после, в свободное от отчетного творчества время, садился творить безотчетно, но ответственно, и выходило лучше. Животных любил рисовать Иван Егорович, птиц домашних.

Иногда его посещали журналисты из газет, телевидения, тогда его помещали на какой-нибудь цветной фон, не раздражающий зрителя скудностью реального обитания художника.

Посетил и я. Видел много картин малого размера и изображавших анфас петуха (вы видели петуха анфас?!), и даже сама модель была доставлена для доказательства «высокого понимания художественности природы». В конце вечера, попивая из кружек чай, имел с Иваном Егоровичем философскую беседу на темы вечные...

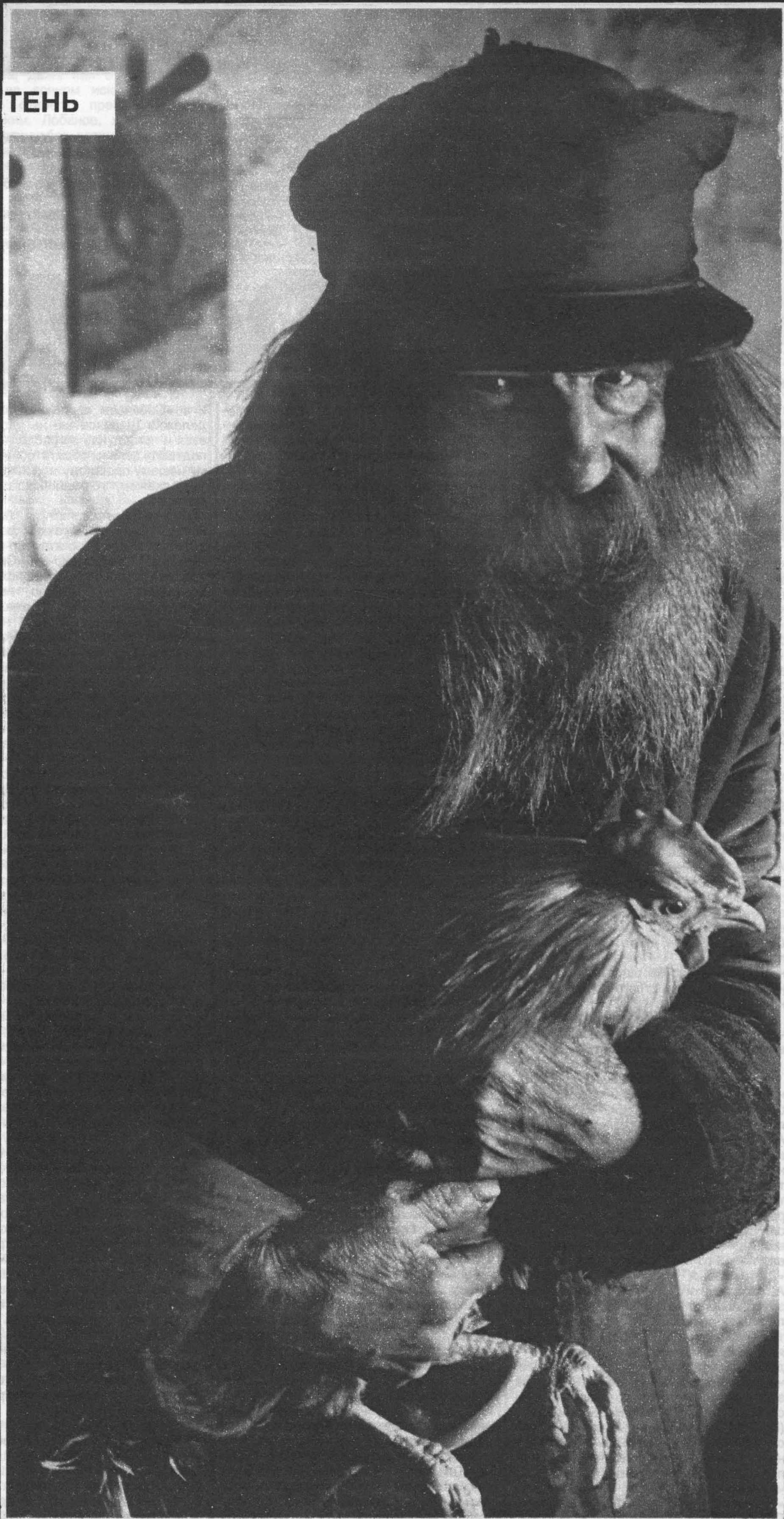
— А что, по-вашему, есть любовь? — спросил я, когда мы дошли до этой темы.

— Любовь? — Он хитро посмотрел из-под седой челки. — Любовь, так сказать, нравственное притяжение одного тела к другому.

— А смерть?

— Смерть? Бестелесное продолжение мыслей и дел человека в ощущениях телесных жизней...

Иван Егорович продолжает жить в наших ощущениях.



Станислав РАССАДИН

ВСЁ ПОДЕЛИТЬ?

— Да не согласен я.
— С кем? С Энгельсом или с Каутским?
— С обоими, — ответил Шариков.
— Это замечательно,
клянусь Богом... А что бы вы со своей
стороны могли предложить?
— Да что тут предлагать?.. Пишут, пишут... Голова пухнет.
Взять все, да и поделить...

Михаил Булгаков. «Собачье сердце»

В начале шестидесятых, в молодости моей, когда, как на зоосадовской площадке молодняка, еще казалось возможным резвиться рядышком с неопасным по причине юности хищником (даже если клыки уже прорезывались), был у меня разговор с начинавшим тогда стихотворцем... Назовем его вполне условно: К.

— Сейчас в России только два настоящих поэта!

Это он мне, стало быть. И поскольку его мнение относительно собственной персоны было яснее, чем его зреющий (и — ох, как же вызревший!) нрав, вдобавок ходил он в прилежных эпигонах у Бориса Слуцкого, то я, казалось, не рисковал ошибиться:

— Понятно. Первый, естественно, ты. А второй? Слуцкий?

— Не-ет! Слуцкий — баракло. Я и П. — И тут же спохватился. — Нет, нет! Не два поэта — три... Еще — Ахматова!

Тогда я только руками развел: «Ну и ну!», а сейчас вижу: неглупо было сказано, даже если снисходительное решение принять Анну Андреевну в компаньонки диктовал не расчет, а животная жажда самоутверждения. Дележка! Да, да, дележка! Ахматова плюс наши К. и П. — все это, поделенное на три, дало бы ощутимую величину. Как говорится, строго поровну: один конь, один рябчик.

Предполагал ли провидец Булгаков, что лозунг его незабвенного Шарикова возьмут на вооружение литераторы?

Взяли. В статье «...Все разрешено?» («Огонек» № 13), продолжением которой, по существу, даже второй ее частью, является эта, я изумленно цитировал Анатолия Ланщикова: «А я считаю, что в общественной жизни участвовали одновременно и «Новый мир», и «Октябрь». То бишь и Твардовский, и Кочетов. Цитировал, сознаюсь, как курьез — ан нет, поторопился, приукрасил суровую действительность. Вот, извольте — уже из Михаила Синельникова, из 13-го же номера «Литгазеты»: «Да, «Новый мир» под редакцией А. Твардовского...» — ну, дальше обязательный по нынешним временам комплимент: дескать, что говорить, были там и заслуги. «Да, грубейшей ошибкой явились административные меры...» — далее о расправе с журналом; не чересчур темпераментно, но справедливо ль этого ждать от того, кто посылно участвовал в травле «Нового мира»? (Правда, сам-то Синельников выразился деликатнее: дескать, значение журнала Твардовского «не всегда верно понималось оппонентами, мною в том числе», — и вот тут хочется остеречь «оппонента» от ложной скромности. Стоит ли так приbedняться, Михаил

Ханаанович? Понималось, отличнейшее понималось, классовым, так сказать, чутьем чуялось, оттого и изничтожалось — вами и теми, кто был повлиятельней вас.)

Но это только начало. Зачин. Запев. Ибо — «при всем при том...» Слушайте, слушайте... «При всем при том...» — и уж дальше по знакомому принципу уравниловки «один конь, один рябчик» стародавние пошлости о предосудительной групповщине «Нового мира», о том, что и писателей там различали не по таланту или, допустим, честно-сти, — нет, в зависимости от «имени». А простая, казалось бы, мысль, что авторам пресловутого «письма одиннадцати», угробившего или по меньшей мере гробившего «Новый мир», следовало бы обнародовать свое нынешнее мнение на сей счет (особенно если они не прочь клясться именем Твардовского), эта нехитрая мысль вызвала у Синельникова ироническую ярость: «Что, сегоднешнее «покаяние» должно произойти на уровне неукоснительного мероприятия? И не «под строгим конвоем» ли?»

Честно признаться, я бы насчет покаяния не острил так неосторожно. Ибо думаю: если ты, имярек, воспеваешь (предположим) романы Рашидова или брежневскую трилогию, если спешно вымарывал из журнальной верстки имя только-только скончавшегося Андропова и вписывал имя Черненко, — знаю таких, да и кто их не знает? — а нынче твердишь: «демократия — перестройка — гласность», не тревожат ли тебя неуютные воспоминания?.. Нет, я не о голосе совести, не настолько наивен, но ведь, как говорят, «от людей стыдно». Люди-то — помнят! Так что соблюдайте хотя бы приличия, граждане! Ради них, приличий, намекайте, что и вы не забыли. Большого не прошу...

Слаб человек, и, дочитавши Синельникова, я чуть не вскричал беспомощно-патетически: дальше, мол, некуда! Нет, есть куда.

Открываю свежий, 4-й номер «Нашего современника». Читаю: «Писали — и у нас и за нашими пределами — об уходе из «Нового мира» А. Твардовского. Но один влиятельный французский публицист Робель писал в журнале «Леттр франсэз» (декабрь 1970 г.), что главным событием в советской литературе был уход не А. Твардовского из «Нового мира» (уже исчерпавшего себя, добавим), а А. В. Никонова из «Молодой гвардии». Время показало, что эти события оказались действительно разного значения».

Да. Вот этак пишет критик Михаил Лобанов, ходивший под началом у Никонова в редколлегии «Молодой гвардии». И, одолев естественную оторопь, задумываешься...

Знаете, чем еще скверна уравниловка? Тем, что — фиктивна. Тем, что вызывающие к ней и даже выдающие ее за «историческую объективность» для самих себя ее не хотят, дудки! Ведь

и в «Собачьем сердце» возжелавший дележки Шариков ею не удовольствуется и при случае заграбастает все. За подтверждением обратитесь к недавнему нашему прошлому или хоть перечтите... скажем, гофмановского «Крошку Цахеса».

А я-то еще серчал на Ланщикова, который сейчас, на таком фоне выглядит прямо-таки трогательно-щепетильным: «...И «Новый мир», и «Октябрь» — всего-то навсего, фифти-фифти, равенство-братство. Я-то по легковерию счел «обязательным» формальное, явное упоминание, ну, хоть некоторых, немногих заслуг Твардовского и его журнала. Где там! Нет, на сей раз «Новому миру» так не посчастливится, Никонова с его «Молодой гвардией» даже не приравняют к Твардовскому — еще чего! — но победительно противопоставят, не погнушавшись ради такой чрезвычайной цели превозмочь свою национальную гордость, пренебречь приоритетом и униженно обратиться к арбитражу некоего иноземца. (Дело обычное: кичливость частенько соседствует с заискиванием, примерно так же, как горделивое осознание себя самого носителем народного духа мирно сочетается у Лобанова с весьма причудливым представлением о родном языке: «нашел бы «козла отпущения» в лице автора...» — и т. п. «Козел в лице» — нука, вообразите себе этакое чудо!)

Словом, тут уже не дележка, а передел. Перекрой. Не уравниловка, а захват. Да не чего-нибудь, но — истории.

«Гнусная статейка», «отвратительная кампания клеветы и травли», «рассчитанное и типичное хамство», — добросовестно процитирует Лобанов Юрия Трифонова, его воспоминания о Твардовском, его оценку «антиновмировской» осады и «письма одиннадцати». И драматически прокомментирует: «Заметьте, какая возня поднялась, какой гвалт — и все из-за одного лишь письма в поддержку журнала «Молодая гвардия». ...Понимаете ли? В поддержку... Из-за одного... Нет, ей-богу, в самую пору жалостно зарыдать перед картинкой: одиннадцать рыцарей справедливости и добра, одиннадцать донкихотов вступающих за обиженную и униженную, затравленную проклятым этим «Новым миром» «Молодую гвардию»; вступаются хоть плечом к плечу, но как бы и в одиночку («одно лишь письмо», глас вопиющего в пустыне!), а воздаяние за их одинокий порыв — гвалт и возня.

Да, впору зарыдать — но не рыдается. Может, потому, что помнится: и судьба «Нового мира», и судьба его убитого — или добитого — редактора. Впрочем...

«Объективно было так, что «Новый мир», так сказать, в лице своей критики, задававшей тон журналу, изжил себя, исчерпал в своих либерально-прогрессистских претензиях (обратив свои стрелы, как и многие другие издания, против «Молодой гвардии» с ее

«традициями и народностью»)). То есть — понимай: бюрократия, разгромившая журнал Твардовского и трагически переломившая его собственную судьбу, совершила благое дело. И पुце того: оказалась орудием самого Провидения, справедливо и безболезненно изжив изжитое. Тем паче: «Да и сам Твардовский уже был тяжело болен... не мог руководить журналом».

Вот ведь какое своевременное совпадение! Прямо сказать, удача!

Сдержим себя. Не унизимся до опровержений. Спросим только: это — по-людски? Или по-людоедски?

Бывают, я думаю, сочинения, с которыми нет смысла спорить: достаточно показать читателю товар лицом. Иногда это лицо страшноватое, иногда смешное, но предмета для полемики в таких случаях нет, ибо — не предусмотрен. «Время показало... Объективно было так... Так что слова о гонении на А. Твардовского, на «Новый мир» не более чем плод пристрастного воображения». И все. Точка. Вы станете с этим спорить? Полагаю, что нет. Можно спорить с человеком незнающим, заблуждающимся, но нельзя, немыслимо, незачем — с тем, кто, зная и не заблуждаясь, говорит сущую неправду, глядя вам в глаза. Вот и я не стану — ни в этом случае, из страшноватых, ни в ином, посмешнее (я о статье Синельникова).

В ней из критиков грозно обличены Наталия Ильица, Татьяна Иванова, Буртин, Сарнов, и в лестную эту компанию повезло угодить мне: статье «...Все разрешено?» посвящен не краткий постскрипtum. Тут вообще не спорить надо, благодарить. И за отборное общество, и за то, что автор внимательно мою статью изучил, прилежно пересказал, не упустив, спасибо ему, опорных мыслей и слов, — например, напомнил читателю, как я представляю себе писания и побуждения Татьяны Глушковой и ей подобных («логика выживания» — да, именно так, все верно). Словом, конспект добросовестен до скрупулезности.

Правда, кое в чем Синельников меня утучил-таки. Я говорил: отнимая книги Платонова, Ахматовой, Гумилева, нас как бы лишали воздуха, приучали жить словно в противогазе. А он: как же тогда — ха-ха! — Рассадин сочинил свои два десятка книг? Вот тут ничего не поделаешь, каюсь. Было. В поисках недостающего воздуха обращался к Пушкину, Фонвизину, Денису Давыдову, Дельвигу, Вяземскому, в общем, что отрицать, бежал, усталый раб, — и это в то самое время, как мой обличитель дышал полною грудью, а если и задыхался порою, то не иначе, как от восторга: «Большая эмоциональная сила... Событие в духовной жизни народа... Глубочайшее внимание и уважение к труждающемуся человеку... Глубинный гуманистический смысл...» Угадали, о чем это? Да, о них самых, о «Малой земле», «Целине», «Возрождении» —

чему ж еще стоило посвящать лиру? Вольнолюбиво и безоглядно пел Синельников трилогию Брежнева, ничего не страшась, восхвалял Чаковского, Кожевникова, Проскурина, Анатолия Иванова, Михаила Алексева, а громил... Напомнить ли, что громил? Но зачем? Уж его-то к покаянию не зову. Не утопист. Вот ведь и в литгазетской статье достается, помимо неугодивших критиков... Кому? Да Андрею Платонову. Не за пустячок достается, за наиглавнейшую метафору «Котлована», за самый смысл великой книги. «Не могу принять...» (Синельников — Платонов); улавливает переключку? Ну, не может, ну, ни в какую — ни принять, ни молчать, хоть вы его расказните. Кремень! Кряж!..

Вот и спрашиваю: с чем полемизировать? С какими синельниковскими аргументами?

Как полагаете, что первым делом с жадностью ухватил он, прочитавши мою статью? А вот что: «Номер газеты («Литературной»), тот, где статья Глушковой. — Ст. Р.» вышел 23 марта. Номер журнала (где мой ответ. — Ст. Р.), как указано в нем, подписан к печати 22 марта...» Понимаете ли ужасный намерек?

Есть соблазн развернуть его во впечатляющую картину. Глухая ночь. Критик Рассадин, вооруженный фомкой, тяжело переваливается через подоконник высокого этажа «Литгазеты»; светя фонариком, отыскивает секретнейший сейф, где в тайне от общественности хранятся рукописи, и чуткими пальцами медвежатника набирает шифр... Да, чтоб не забыть для полноты впечатления: а на дворе вся редколлегия «Огонька» во главе с Коротичем, тревожно зыряка, стоит на страже. На шухере.

Или, чтоб не заболеть шпиономанией, вообразим что-нибудь попроще? Для начала смекнем, что 13-й номер «Литгазеты» вышел не 23-го, а 22-го, да и всегда выходит днем раньше, во вторник, именно в этот день раздается сотрудикам, рассылаются по инстанциям, иногда и к подписчикам попадает; подписан же он к печати («как указано») и вовсе 21-го. Рассадинская же статья, напротив того, печаталась на так называемых оперативных полосах, которые редколлегия вольна верстать-переворачивать после подписания... Итак, сколько же получаем времени для сочинения? Ах, все еще мало? Хорошо, допускаем дальше. То, например, что случаются литераторы, способные, уж извините, писать быстро — особенно когда «горит». Что статья задумывалась и писалась давненько, что было в ней... Да много чего уже было, недоставало последнего только мазка, и когда подоспела статья Глушковой, то задача — доделать статью — могла бы, глядишь, показаться не столь уж неодолимой даже Синельникову... Что, все еще трудно поверить? Вот это, увы, допускаю. Еще бы не трудно, когда профессионализм путают с уголовщиной, когда статья тащится до печатной машины много, много дольше, чем пишется, и вот тот же скандальный опус Глушковой готовился к публикации так неповоротливо-долго, что о том, кого там поносят и чего требуют, я слышал неделями раньше в кругах, от «Литгазеты» безмерно далеких, и люди, уважающие газету — больше всего за ее «вторую тетрадку», — горестно удивлялись, как было можно опуститься вдруг до такого... Так что морально-то я, разумеется, к появлению глушковского монстра был готов.

Впрочем, соперника надобно уважать. И доступная мне форма уважения к Михаилу Синельникову в том, что нипочем, ну, ни в какую не поверю в его несообразительность, сколько бы он сам ни пытался уверить меня в обратном. Как он был понятлив, «оппонируя» журналу Александра Трифоновича Твардовского, как знал, что творит, вместе с восторгающейся толпой смакуя «большую эмоциональную силу» в книгах, подписанных Леонидом Ильи-

чом Брежневым, так и сейчас понятливости не утратил. А умение обходиться без литературной полемики, разве что имитируя ее, да и то небрежно, — это, представьте себе, в самом деле, умение, школа, даже как бы искусство, где, как во всяком искусстве, есть люди, им открыто пренебрегающие (предположим, Лобанов, храбро искажающий истину без всяких там хитростей и уловок), есть старательные, но не слишком искусные подмастерья (в них зачисляю Синельникова), а есть и мастера. Даже, я бы сказал, виртуозы.

К труду виртуоза и приступаю, одержимый чем-то вроде почтительного любопытства.

2

«Я сосредоточусь на... романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», — с порога предупреждает Вадим Кожин (тот же «Наш современник», тот же 4-й номер). Вопросает себя: «Почему именно на нем?» И отвечает: в частности, и потому, что «сочинение А. Рыбакова получило самые громкие и восторженные отклики».

Ответ, отдаю должное, честный. Настолько, что является сочувственно-пугливой мыслью: а если б к «Детям Арбата» не пришло долгожданное счастье публикации, на чем бы тогда — ведь уж не в первый раз — сосредоточился критик Кожин, которого, если не ошибаюсь, сегодня ни одна книга не раздражает до такой степени? (Живо воображаю, как озирается, роется, судорожно ищет нечто еще поплотнее — нет, никак не найдет!) Хотя не стоит слишком пугаться: порывшись, нашел бы, ведомый своим безошибочным инстинктом, как в недавнее время облюбовал для методического избиения прозу не Пикуля или Анатолия Иванова (тоже громко известную), нет, Юрия Трифонова. Как не упускал случая пнуть или ущипнуть Тынянова, Тендрякова, Каверина, Гранина, Бакланова, Арсения Тарковского... В общем, совсем недурную, даже завидную можно составить коллекцию, и если в ней все же недосчитаем кого-то из лучших наших писателей, уж зато поручусь: тех, кто составляет позор нашей словесности, в этой библиотеке отверженных не окажется. Ну, разве один-два, и то вряд ли.

Ныне на эту золотую полку, как на лобное место, выпала честь стать и Рыбакову.

Итак, «почему» — это нам более или менее объяснили. Но ради чего? Какова то есть цель? Средства каковы?

Вот со средств и начнем.

«— Правда, Ленин писал, что Сталин груб и нелоялен?»

— Откуда ты знаешь?

— Какая разница... Знаю».

Это, как помните, из «Детей Арбата»: Саша Панкратов спрашивает своего дядю Марка Рязанова, и вот что за ворох тяжких упреков обрушен на три бесхитростные строчки (ворох велик, но перетерпите; я ведь сказал, что товар должен быть показан лицом):

«Удивленный вопрос Рязанова («Откуда ты знаешь?») совершенно бессмыслен, ибо деятель такого ранга никак не мог не знать, что еще за шесть лет до его разговора с Сашей, 2 ноября 1927 года, в «Правде» был опубликован текст речи Сталина, затем не раз переиздававшийся массовыми тиражами, — речи, в которой Сталин, в частности, заявил:

«Говорят, что в... «завещании» тов. Ленин предлагал съезду, ввиду «грубости» Сталина, обдумать вопрос о замене Сталина на посту Генерального секретаря другим товарищем. Это совершенно верно».

Если бы Саша задавал свой вопрос дяде до ноября 1927 года — это было бы понятно. Но тот факт, что он задает его в 1933 году, может служить только разве показателем его невежества, его незнакомства с важнейшими политическими документами; что же касается недоуменного вопроса Рязанова, кото-

рый станет вскоре членом ЦК, он поистине абсурден».

Можно, конечно, начать ленивые возражения — ленивые потому, что напругаться никак не приходится. Дескать, стоило бы сообразить, что шесть лет назад юный Саша был и вовсе ребенком, чей нежный возраст можно было бы пощадить, не подводя его, как под трибунал, под обвинение в политическом невежестве. Что сталинское полупризнание в 1933-м уже отнюдь не пропагандировалось, за упоминание всуе ленинского завещания можно было крепенько поплатиться. Что само это признание было даже не «полу...», а «лже...»; сказав «совершенно верно», Сталин тут же вполне иезуитски заявил, что эта «грубость» — приметим: в кавычках — есть грубость по отношению к врагу, так что Ленин оказался не только подтасован, но и как бы опровергнут.

Наконец, можно было бы сказать, что отношение к роману как к учебнику истории странновато: перед таким подходом равно бессильны все, от Льва Толстого до Петра Проскурина, — да, можно, однако не нужно. Ибо сам этот подход не столько прагматичен и примитивен, сколько, выражаясь мягко, лукав. Кожин жаждал учиться истории по Рыбакову и страшно разочарован, что это не получается? Да полно. Это он хочет учить, он загодя знает, как нужно писать и что нужно сказать.

В общем, спорить — знакомая ситуация! — нет ни малейшего смысла. Достаточно протянуть руку к полке, взять «Детей Арбата», раскрыть на странице 13-й и убедиться, что цитата фальсифицирована. Потому что далее: «— Это качества сугубо личные, — сказал Марк, — они не главное. Главное — политическая линия».

Вот оно! Рязанов, стало быть, все протолчено знает и помнит, он лишь недоумен; что это известно племяннику — то есть много ли остается от попреков персонажу в «бессмысленности» и «абсурдности», а Рыбакову — в «исторической неточности»?

Но погодим восклицать: ничего не останется! Нет, кое-что остается.

Критик Сергей Чуприн набросал ряд портретов своих коллег, — иные, как Кожин, портретированы блистательно, — и среди характерных кожиновских приемов отметил такой, характернейший: «при обращении к массовой аудитории доказательства легко заменяются интонационным напором, безапелляционностью и, главное, методичностью как в истреблении одних писательских репутаций... так и в насаждении других». Или, выражаясь уже короче: «повторение, вдалбливание заранее заготовленного тезиса».

Запомним: «заранее заготовленного». И убедимся: «вдалбливание».

Чтоб мы не успели, усомнившись, потянуться к полке, нам не дают передыху. Рыбакову — готово дело — шьется новая «историческая неточность»: в его романе Сталин думает о себе как об «инициаторе и организаторе реконструкции Москвы», то есть уничтожения ее древнего облика, и вот уж ему — нет, не Сталину, всего только Рыбакову — сунуто новое лыко в строку. Как же, мол, так, если сам Иосиф Виссарионович собственноручно уступил эту честь Лазарю Моисеевичу: «Наш испытанный руководитель, Л. М. Каганович, инициатор (разрядка моя. — В. К.) нового архитектурного оформления Москвы...»

Разрядка-то пусть будет кожиновская, никто и не посягает на эту долю его участия в сталинском утверждении, но пожелавший ему возразить — вновь! — попадет в тупик. Возражать просто нелепо, потому что рискуешь обидеть. Возражая, придется предположить, что Вадим Кожин, взявшись за столь серьезную, кровотокающую тему, не знает элементарного. Того, например, что коварство Сталина, да и расчет тирана, понимавшего, что при самодержавном правлении надежней властвовать, разделяя, распреде-

ляя почести, как паек, — словом, и расчет, и коварство состояли в том, что при нем, при гении всех времен и народов, было дозволено существование полуигрушечных титулов вроде «первого маршала», «железного наркома» или, вот извольте, «инициатора» переустройства столицы. Будь иначе, разве посмели бы Лебедев-Кумач или Джембул возглашать личные — и несдержанные до невозможности — здравницы Ворошилову либо Ежову? А уж хор Пятницкого за его «величайшую песню товарищу Молотову» (с детства помню надрывное: «Вя-че-сла-ав Михайлович наш!»), страшно подумать, никак бы не избежал общей участи тех, кого обвиняли в групповом антисталинском заговоре.

Повторю: незачем возражать. Да и некогда. Поспешно свернув разговор про Кагановича, которому наш демократичный вождь от широкой души презентовал честь и место — свою честь, свое место, — Кожин вдруг пресытился собственной избыточной доказательностью и утомленно от нее отказался: «Однако едва ли есть смысл останавливаться специально на этой стороне дела...»

И то: тень на роман брошена, большего — пока — не требуется.

Конечно, иной сочувствующий снова забеспокоится: да как же он, экий отчаянный, не боится, что роман перечтут, факты сверят, за руку схватят? Но — не волнуйтесь. Было, ловили, хватили — ничего, выдержал.

Было-то вот как. В журнале «Дружба народов» (№ 1) Кожин высказался: «Много... говорили о страшной роли Лысенко, губившего биологическую науку, но Д. Гранин в «Зубре» со всей убедительностью сказал, что Лысенко был, в сущности, тупым орудием в руках таких «теоретиков», как Деборин и Президент».

Все бы хорошо, но нашелся наивник, решивший, что есть предмет для спора, огоньковский читатель А. М. Блох: «До тошноты, до душевной боли знакомая эквилибристика словом, когда исподволь, нарочитым подбором фамилий с «нужным» звучанием все ставится с ног на голову. Потому что из заявленного напрашивается лишь один вывод: истинные виновники трагедии советской биологической науки — все те же инородцы, все та же, по терминологии «Памяти», сатанинская сила».

Ну, и напрасился, получил за свою наивность: «Маскируясь под «борца с шовинизмом», Блох в действительности выступает как человек, одержимый воинственно-националистическим, то есть шовинистическим духом» — и др., и пр.; да много чего еще осервавший Кожин вывалил и вылил в «Нашем современнике» на голову высунувшегося читателя. Вдобавок вздохнул эгегически: из-за таких, как Блох, «путь к истине чрезвычайно труден» (думаю, вздохнул от души — еще бы не чрезвычайно, ежели за руку ловят); срочно мобилизовал под свое боевое знамя уже не безвинного Даниила Гранина, а безвинного Анатолия Головкова, который помянул в «Огоньке» еврейские имена следователей НКВД, и по известному нам принципу «повторения, вдалбливания» сам щедро подсыпал национально-броские фамилии: Рошаль, Паукер, Раппопорт, Фирин, Берман, Коган и т. п. Причем — без сомнения, одной объективности ради — не позабыл отметить, что эти сподвижники негодяя Ягоды «не были «людьми Сталина»...» То есть спора с него за них нет. Как и за индивидуально ответственного «инициатора» Кагановича.

В общем, знай наших!.. Хотя — что говорю? Наоборот, ваших, гражданин Блох!..

И все же в одном Кожин А. М. Блоха уличил — в том, что он, «злобно вводя в заблуждение читателей, «отрезал» ссылку на Гранина...» Ну, злобно или не злобно, а и вправду зря, потому что тем самым заметен убавил долю кожиновского, по его же авторопределению, «волевого» отношения

к материалу». Смолчал, что Кожин Гранина оболгал, — ведь, сколько в «Зубре» ни ройся, не найдешь, где ж это автор «сказал» хоть отдаленно подобное «волево» утверждению критика. Сам Кожин, думаю, рылся в надежде сразить приставучего Блоха не одной только бранью — увя. Утешимся, впрочем, что, роясь, мог натолкнуться на ряд бесполезных суждений.

К примеру: «Антисемитизм был отравителем Зубру как подлинному русскому интеллигенту».

Или: «Лысенковщина, или, как тогда говорили — облысение науки, привела к тому, что позволяли себе подделывать данные, передергивать цитаты, приписывать себе чужие идеи».

3

Заинтригованно размышляю: откуда эта беспечная неряшливость? Отчего тот же Кожин нимало не обеспокоен, что его так обидно просто уличить в передержке, — ведь, не касаясь даже высоких материй (мол, ответственность... долг... честь...), кажется, одно самолюбие должно бы этому воспротивиться. Тем более, если б Кожин захотел — вот непритворный ему комплимент, — он, с его-то понаторелостью, разумеется, мог бы... ну, если и не доказать недоказуемое, то уж, во всяком случае, явить навыки камуфляжа, придать лжеаргументам видимость солидности, затруднить путь добросовестного читателя к разоблачению домислов.

Да, мог бы. Но — не хочет. Потому что это ему не нужно. И больше того: сама реальность, с которой приходится так-таки встречаться, мешает ему. Именно по той причине, что — реальность.

Вам непонятно, как это может быть? Сейчас разберемся.

Требуется доказать: Рыбаков объясняет явление Сталина и сталинщины тем, что это исключительно русский путь, только «русскостью» и объясняющийся. А доказать трудно, потому что в романе ничего подобного нет. Известно это и Кожину — хвала его трезвости! — но точно так же, как волево руководству экономической хочется выжать нечто из ничего, так и он не видит в том невозможного.

Делается так. «В более осторожной, непрямой форме роман навязывает мысль, что Сталин — это, так сказать, специфически русское явление», — объявит Кожин и тут же, в том же абзаце, не пожалеет строк, дабы повториться: «Эта «идея» высказывается в романе, повторяю, не со всей определенностью и отчетливостью...»

Повториться — из сугубой добросовестности? Опасаюсь, что нет: ему надо внедрить, «вдолбить» в наше с вами сознание, будто если у Рыбакова в помине нет отчетливости и определенности (что само по себе, вероятно, должно навевать подозрения в тайном умысле, во вредительской скрытности и призывать к соответствующей бдительности), то и с критика спросу нет. Очень хочется быть доказательным, руки чешутся, — он ли виновен, что не дают?

Ну, а коли так, то отчего бы не воспринять пробел меж двумя абзацами как роковой Рубикон, и уже этот, следующий абзац начать не деликатным ерзаньем, а директивным утверждением? «Итак, Сталин повернул на «русский» путь (вместо «европейского»)...

«Итак...» Готово! Мысль, якобы уже крепко внедренная в нас, безотлагательно становится материальной силой, в ход пойдут Петр Великий, Иван Грозный (суждения о коих — при необходимости легко докажу — отчетливо пахнут исторической то ли недобросовестностью, то ли малограмотностью), словом, удержу этой силе не будет, пока... Вот то-то и оно, что — пока. В романе хитроумного Рыбакова вдруг объявится нежеланная заставка, эпизод, который, черт бы его побрал, не то что не вписывается в торжествующую

кожиновскую концепцию, но начисто ее рушит. Так основательно, так явно, что и Кожин опускает бессильно руки: «Нельзя не заметить, что в романе «Дети Арбата» есть сцена, как бы прямо опровергающая «русское» происхождение сталинского террора».

Сдаться? Отречься от того, что хищно учуяно в «осторожной, непрямой форме»? Как бы не так! Находчивый Кожин предполагает... Да нет, в точности знает: автор вставил этот вымышленный эпизод — отметим, вымышленный, не навязанный исторической фактографией — «волей-неволей». И, к сожаленью, уклонившись стыдливо от пояснения, кто ж это так жестоко принудил Рыбакова противоречить тайному умыслу своей книги, заключает, не дрогнув: «Эта верная информация как бы неопровержимо свидетельствует, что Сталину нечему было «научиться» в России... И утверждение «русского» происхождения жестокости Сталина всецело беспочвено».

Нет, вы оценили, что перед вами сейчас предстало? Осознали уникальность момента? Реальная, явная, существующая — вот она, вот, читайте, трогайте, осязайте! — плоть романа осмелелась опровергнуть нечто туманно-неявное, просто несуществующее, возникшее только в кожиновском воображении. Самим своим существованием опровергла — и что же? А ничего. Как Кожин верил, так и хочет верить не явному. Несуществующему. Тому, что не может нам предъявить, не в состоянии доказать, назвать — и то затрудняется, однако на чем продолжает настаивать. «Вдалбливать».

Впрочем, кажется, я сказал: «верил... верить...»? Если так, то, пожалуй, забираю этот глагол обратно.

Когда-то Вадим Кожин резонно прекнул критиков тем, что они, то есть мы, чересчур церемонны и, допустим, ни единого разу не назвали в глаза бездарность — бездарностью. Помню, я втайне смущенно с ним согласился, ибо, казалось, уж столько претенциозных графоманов и неумех сражал на своем веку, а на сакраментальном слове — да, спотыкался. Почему? Потому вроде бы догадался: уж больно оно безысходное. Как ни тщишь, а не возместишь того, чего нету, так не жестоко ли тыкать кому бы то ни было в нос горькую его обделенность? Даже если он из нее извлек вящую выгоду, став никого не тревожащим и оттого благоденствующим гладкописцем?..

Как бы то ни было, а уж тут случай небезысходный. Тут речь о том, чего автор мог — да словно бы и обязан был? — избежать, и потому я наконец-то с легким сердцем могу исполнить кожиновский завет и высказаться без обиняков. Если перевести образ его методы, рожденный Сергеем Чуприниным, с косвенно-терминологического языка на общеупотребительный, не вижу иного перевода, как: система четко организованной лжи.

Подчеркиваю: система, не Кожин, вымысел, понятное дело, созданная, но, одобрительно повторяю, использованная им виртуозно.

Да, и кому, скажите, ее использовать, как не живущему среди нас? Среди нас, которым, допустим, внушали с высочайшей трибуны, что мы вот-вот, еще шаг, и войдем в самый что ни на есть натуральный коммунизм, а мы не то чтобы верили, может быть, таких простаков не нашлось ни единого, но ведь делали вид: верим! И не очень оскорблялись, когда нашу доверчивость наверху, в свою очередь, принимали за чистую монету.

Впрочем, и там, вероятно, не принимали. И там не было простаков. В том-то и штука, в том-то великая, далеко еще не изжитая наша беда, что нас, разумеется, сердило и огорчало слишком уж явное несоответствие между словами о достигнутом благоденствии и состоянием наших домов, магазинов, сервиса, гардероба; огорчало, сердило, но — не очень оскорбляло, потому что

мы с вами уверились: так и должно быть, газетам положено врать, на то и газеты, а у властей нету для нас другого языка. Словесные миражи, конечно, не убеждали, но мы смирились с их неизбежностью, как в подполье, спасаясь в юмор, в иронию, в анекдоты. Существовал как бы всеобщий и мирный заговор: нам врал, ничуть не рассчитывая, что мы поверим, во всяком случае, всему, что врут, — и мы не обманывали надежд врущих.

Не провожу прямых аналогий, не ставлю генетического диагноза, — твердо знаю только одно. То, что явил своей статьей Вадим Кожин (а она, по-моему, и для него, виртуоза, есть вершина, пик, совершенство), может существовать только в той атмосфере, которая все плотней и плотней сгущалась над нами столько лет; лет, хорошо бы, коли невозвратных, но скверно, если забытых.

Критику, в котором хочу разобраться — потому что считаю его закономерной, типичной, важной фигурой, — вовсе не нужно, чтоб концы сходились с концами. Хотя бы и на поверхности, для блезире. Пожалуй, и плохо, ежели вдруг сойдутся. Принципиальная бездоказательность как необходимая часть отлично организованной системы вранья — это, не будем приуменьшать, довольно мощное средство воздействия. Привыкшие жить в мире словесных фантомов беззащитны перед «волевым» отношением к материалу, и вот (случай еще сравнительно безобидный) Кожин, небрежно, неуважительно к нам и к писателю симитировав доказательность в статье о «Детях Арбата», уже почитает себя вправе, не опускаясь хоть до каких-либо аргументов, говорить о романе все, что угодно. Предположим — почему бы и нет? — заявить, что Рыбаков как бы эпигон Александра Дюма, а Сталин, беседующий с Ежовым, смахивает на Ришелье, беседующего с миледи... Кто запретит? Что помешает — в том миражном, фантомном мире, который так славно обжил Вадим Кожин?

Однако не полагайте, что миражи вообще безобидны. «Клевещите, клеветайте, что-нибудь да останется» (французская поговорка). Вспомните, что осталось, что всплыло, — а вдруг в кого-нибудь и «вдолбилось»? — пока Кожин не очень старательно изображал озабоченную доказательность. Какой образ вождя пытался войти в нас, а вдруг в кого-то вошел или, что вероятнее, сошелся с чьим-то заданным представлением: образ Сталина, чья честная самокритичность была так широко известна, что и юнец Саша просто обязан ее знать (если не знает — политический невежда). Сталина, который охотно уступал власть и почести, например, Кагановичу, то есть как бы и не слишком ответственного за то, что было при нем со страной и народом...

Скажете, преувеличиваю и из спора, кто был «инициатором» уничтожения прежней Москвы, это не следует? Думаю, следует, но если не верите, вот вам другой пример. Возникает фигура Яковлева-Эпштейна, наркомзема 1929—1934 годов — и: «Едва ли можно оспорить, что на этом человеке лежит главная ответственность за трагедию 1933 года». Еще бы — и как, право, жаль, что Сталину не удалось обуздать отбившегося от рук Эпштейна и предотвратить трагедию; уж так старался, так хлопотал, даже «Головокружение от успехов» сочинил, да вот не вышло. Власть было маловато.

Как и у «нестрашного» Лысенко, оказавшегося хоть и тупым (значит, тем более неопасным?), но лишь орудием в лапах презентов-дебориных...

Много чего еще обнаружим в примечательнейшей кожиновской статье. До самого любопытного я, может быть, и не добрался. Так что — прошу, раздобудьте 4-й номер «Нашего современника», убедитесь (помогаю вашим стараниям, указываю особо выдающиеся страницы: 162—164, 165—168, 171—173), что можно черным по белому

изобразить: сталинский культ создавался едва ли не вопреки его личным усилиям, по крайней мере, помимо их¹, а кто создавал... но это увидите. Считайте: рекламно вас интригу.

И про 1937 год прочтете нечто нерядовое. Для начала узнаете, что писатели с «интеллигентским» (слово, как вы догадались, ругательное) подходом слишком упоены злосчастным 37-м и мало интересуются потерями предыдущих страшных годов. Поскольку что это за писатели, нам, конечно, не сообщат, то полемики и тут не получится, потому лишь призадумаемся: что это за... нет, не храм, а бухгалтерия на крови, что за хладнокровный треск арифмометра над общенародной, общенациональной, межнациональной трагедией? И тут, значит, все та же дележка?

Хладнокровие, впрочем, следовало бы, казалось, и оценить. «Во избежание недоразумений отмечу...» — говорит Кожин и отмечает, вернее, перечисляет членов его семьи, погубленных Сталиным. «Но я не считаю допустимым как-то выделять судьбы близких мне по крови или по делу (я имею в виду литераторов и вообще интеллигенцию) людей из общей трагедийной судьбы народа».

Естественно, тянет спросить: а кто считает допустимым? Кто, укажите, и уж мы его... Но тут тем более не до полемики, а я вот о чем.

Склоняю голову перед жертвами, но, читая их хладнокровного родственника, говорю, что строкам, исковерканным литераторским жаргоном, вовлеченным в тактические игры, готов предпочесть бесхитростное, читательское, даже такое:

«...Могу назвать своего отца. В 1937 году его арестовал районный начальник НКВД, и он после этого домой не возвратился. В этой моей личной трагедии я не виню И. Сталина, потому что в то время речь шла о жизни и смерти социализма...»

«...Такие люди, как Сталин, нужны сегодняшней перестройке. За нарушения и преступления в обществе он строго наказывал. И очень правильно делал. Так и нужно».

Горько, страшно, стыдно читать, — почему же все-таки предпочитаю это, даже это? По очень простой причине. Тех, кого исторически обездолили, душевно перекалечили, их все-таки можно, нужно жалеть. Можно сочувствовать в отличие от тех, кто калечит...

4

Не хочу кончать на такой ноте. Попробую — на торжественной.

«Известно, что критика — та область духовной деятельности, которая более других формирует общественное сознание». Редко, мало пишет член редколлегии «Литературной газеты» Светлана Селиванова, но когда пишет — как резцом по граниту. Так что риску создатель, как говорится, хорошую традицию: вот уж вторую статью подряд заключаю ее высказыванием.

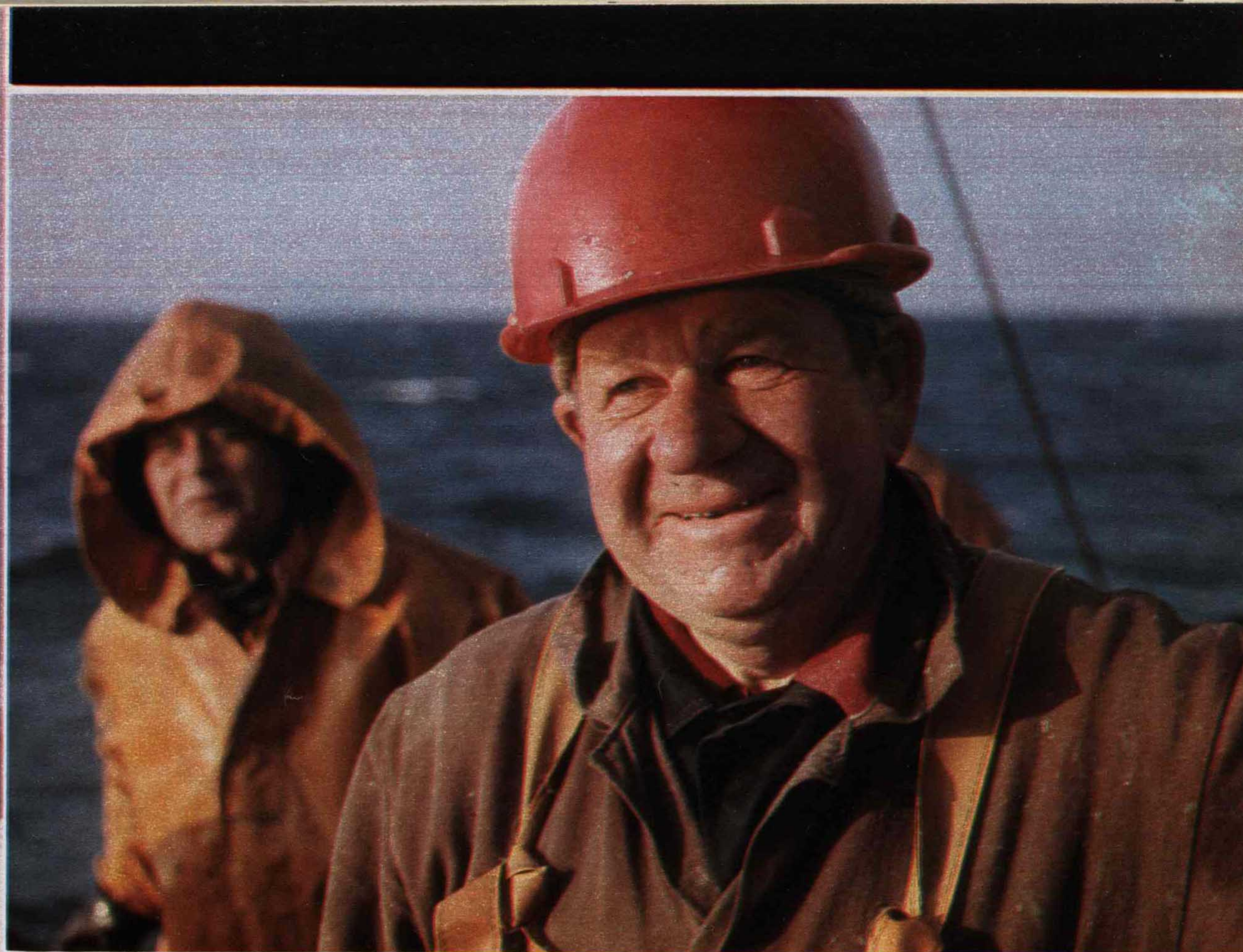
Если бы впрямь было так, если б и вправду критика наша — то есть то, что главенствовало в ней все долгое последнее двадцатилетие, направляя и назидая, — если такая критика и вправду «более других» влияла на сознание общества, период застоя, глядишь, протянулся б никак не меньше, чем татаро-монгольское иго. А он, нравится это кому или нет, все-таки кончился — как бы болезненно ни отзывался в нас, как бы агрессивно ни старался возвратиться и возродиться.

¹ Для тех, кто не раздобыл и может мне не поверить, все-таки процитирую: «Культ Сталина — это вовсе не результат интриг его самого и каких-то сомнительных подручных; это было в прямом смысле слова всемирное явление, которое осуществлялось повсюду — от Мадрида до Шанхая».

15 МАЯ 1987 ГОДА, ПЯТНИЦА...
ВСПОМНИТЕ ЭТОТ ДЕНЬ.
ПО ИНИЦИАТИВЕ
АМЕРИКАНСКИХ ИЗДАТЕЛЕЙ
121 ФОТОГРАФ МИРА,
СРЕДИ КОТОРЫХ БЫЛИ
И ПЯТЬ ОГОНЬКОВЦЕВ —
ДМИТРИЙ БАЛЬТЕРМАНЦ,
ИГОРЬ ГАВРИЛОВ,
ГЕННАДИЙ КОПОСОВ,
ПАВЕЛ КРИВЦОВ
И ЛЕВ ШЕРСТЕННИКОВ,
ВЕЛИ РЕПОРТАЖ
О ЖИЗНИ НАШЕЙ СТРАНЫ
ДЛЯ ФОТОКНИГИ
«ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

В ТОТ
ДЕНЬ





С

егодня мы публикуем фоторепортаж Льва ШЕРСТЕННИКОВА, проводившего съемку во Владивостоке.

...Как распределить 24 съемочных часа так, чтобы не только всюду поспеть, но и не упустить главного? И что главное?

Перед объективом прошли уже и школьники, и просоленные рыбаки, длинноногие пэтэушницы, бьющие в барабаны по случаю какого-то праздника, и перевитые железными мускулами студенты-моряки. Прошли армады невест в своем воздушном счастье и закованных в броню торжественных пиджаков женихов...

Так что же главное? Да все. Вот это все и есть главное. Наша жизнь — обыкновенная и необыкновенная вместе — это каким глазом на нее взглянуть.



«ДУМАЮ, ПРОЙДЕТ ВРЕМЯ,
И СЕГОДНЯШНЯЯ
СИТУАЦИЯ В МУЗЫКЕ ПОКАЖЕТСЯ
СОВЕРШЕННО НЕАКТУАЛЬНОЙ.
МЫ СЕЙЧАС ЯВНО
ПРЕУВЕЛИЧИВАЕМ, ВЫДЕЛЯЯ
РАЗЛИЧНЫЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ,
НАПРАВЛЕНИЯ, СТИЛИ;
ДАЖЕ В САМОМ, КАЗАЛОСЬ БЫ,
УСТОЯВШЕМСЯ И ПРИНЯТОМ
РАЗГРАНИЧЕНИИ
«ЛЕГКОЙ» МУЗЫКИ И МУЗЫКИ
«СЕРЬЕЗНОЙ» ПРИСУТСТВУЕТ,
ПО-МОЕМУ, МОМЕНТ
АБСОЛЮТИЗАЦИИ ЧЕГО-ТО
ОЧЕНЬ ЧАСТНОГО И ПРЕХОДЯЩЕГО.
ВРЕМЯ
СУММИРУЕТ ВСЕ ЧАСТНОСТИ,
И БУДУЩЕЕ,
ПОКА НАМ НЕВЕДОМОЕ,
ПОЛУЧИТ ЦЕЛЬНУЮ КАРТИНУ
ТОГО МИРА, В КОТОРОМ
МЫ СЕГОДНЯ ЖИВЕМ».

Альфред ШНИТКЕ



...Приговорен к самому себе

БЕСЕДА С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ



Одна молодая дама, страстно почитающая музыку Альфреда Шнитке, не пропускающая ни один из тех редких концертов, где исполняются его произведения, как-то призналась: до недавних пор она считала, что этот композитор жил в старинные времена — никак не позже XIX века. Ей казалось, он обладал могучей внешностью, подобно Бетховену, и имел столь же трагическую судьбу; и вот теперь творения его, не понятые современниками, обретают признание счастливых потомков...

Понятное дело, курьез. Плод романтического воображения, помноженного на издержки отечественной конъюнктуры, которая в течение многих лет не была заинтересована в пропаганде творчества композитора Шнитке. Художника международной известности, автора всемирно признанных произведений — симфонических, камерных, хоровых, инструментальных, а также музыки к балетам, спектаклям и кинофильмам. Члена-корреспондента Западно-берлинской, Баварской, Берлинской (ГДР) и Шведской королевской академий искусств. Живущего в Москве, на улице Дмитрия Ульянова, в обычной квартире из трех комнат, где стоит пианино марки «Petrof» и громоздятся полки с книгами, партитурами, пластинками и магнитофонными записями. Какой уж тут в самом деле XIX век...

И все же. С одной стороны, конечно, музыкальный стиль, скажем, Венской классической школы, к которой принадлежал Бетховен, имеет так мало общего с эстетикой авангардизма, характерной для сочинений Шнитке, что в этом смысле наша дама, «прописавшая» любимого композитора на жительство в прошлые столетия, ошиблась резко и существенно. С другой стороны, так ли уж случайна, нелепа и анекдотична эта ошибка?

Всему объяснение — исключительный и ясный масштаб музыки Альфреда Шнитке. Здесь живут одновременно многочисленны стили и жанры, разветвленные во времени, вбирающие опыт разных культур и рождающие в итоге многозначной силы образ. Эта музыка доступна самому неискушенному любителю восприятию, которое оценит ее по своему и примет в изумлении как внезапно открывшую истину — о всем сущем, больном и радостном, о вечном и мимолетном... Подобные откровения привычно относим мы к заслугам классиков, опередивших время в своем постижении мира. А между тем, оказывается, сейчас рядом с нами живет и работает человек, способный объяснить наше историческое сегодня, ибо день вчерашний запечатлен в его музыке непреложным генетическим кодом и он ведает завтрашний день.

Впрочем, громкие слова и велемечивые признания тут хоть и заслуженны, но вряд ли уместны — столь скромна и достойна сама музыка Шнитке, свободная от всякой риторики. Как, собственно говоря, и сам композитор, размышляющий сегодня о состоянии советской музыкальной культуры, о ее прошлом и будущем и о самом себе...

— Альфред Гарриевич, вам не кажется, что в тех бурных событиях, какие охватили в последние три года самые разные стороны нашей жизни — экономическую, общественную, политическую, культурную, как-то потерялись проблемы музыки: о них не спорят с той же страстью, с какой, скажем, обсуждают проблемы кооперативной торговли или новой модели кинематографа? С чем это связано, как, по-вашему?

— Это во многом внешнее впечатление, и не стоит воспринимать мир музыки как нечто спокойное и замкнутое. Здесь масса своих проблем, конфликтов, сложных ситуаций, не менее серьезных, чем в любой другой области. Просто в последнее время в существовании и восприятии музыки наметилась определенная диспропорция — она выражается в том чрезмерном внимании, которое уделяется сейчас всяческой околмузыкальной проблематике. Прежде всего я имею в виду, как вы понимаете, рок-музыку. Столько лет искусственно сдерживаемый

интерес к року, вдруг получивший прорыв, обусловил временное вытеснение интереса к другим областям музыки. В наименьшей степени это коснулось джаза, в наибольшей — так называемой современной классической музыки. Оттого, что ведущие музыкальные проблемы оказались вытесненными на второй план, возникает ощущение, что рок буквально все смел на своем пути. Причем у меня такое ощущение родилось не оттого, что сократилась аудитория симфонических концертов и все устремились на концерты рок-музыки, — не могу сказать, чтобы такое явление наблюдалось в особо угрожающих масштабах, — впечатление этаким лавиной рока возникло у меня благодаря вдруг открывшемуся свободному вниманию к этому явлению со стороны прессы. Пресса, печать страстно желают удержаться на волне актуальности и при этом не учитывают, что актуальность бывает разного свойства. Актуальность сегодняшнего дня всегда чрезвычайно активно себя проявляет, но и столь же активно и быстро угасает. А вот другая актуальность годами, десятилетиями удерживает интерес к классической, допустим, музыке. Конечно, часть аудитории мы тут безвозвратно потеряли, эта часть так и останется на стадионах и не вернется в филармонические залы, но, значит, так тому и быть.

По сути, увлечение сиюминутной актуальностью существовало всегда. Вспомним, что было сто лет тому назад, в эпоху так называемого Венского вальса. Венский вальс воспринимался примерно так же, как сегодня рок. А в двадцатые годы наступила эпоха джаза, и казалось, джаз вытеснил все! Но, как обнаружилось, никакого вытеснения не произошло. И теперь не произойдет, смею уверить. Произойдет то, что и всегда, — будут продолжать постепенно расширяться границы музыки, будут появляться все новые и новые ее разновидности и жанры. Будет дальше развиваться и современная классическая музыка — только не в таком сенсационном плане, как рок, а более спокойно и соответственно серьезно.

— И волна рока схлынет?

— Да, скорее всего, и на Западе эта тенденция уже ощущается. Только не подумайте, что я против рок-музыки, напротив — я среди тех, кто очень заинтересован в ее развитии и внимательно следит за тем, как это развитие происходит. Я против поспешной капитуляции перед тем, что ни было — в том числе и перед роком.

— А не кажется ли вам, что средства массовой информации, и прежде всего телевидение, в той отчаянной пропаганде рока, о которой вы говорите, представляют это явление не слишком дифференцированно, как сплошной вал — без разграничения стилей, направлений, вкусов, наконец?

— Да, это так. Я замечал, что телевидение представляет под эгидой рока немало интересного, но это интересное на самом деле роком не является. Вот, например, этаким знаменем рока выдвигают группу «Аквариум» под руководством Бориса Гребенщикова. А группа эта интересна прежде всего своей нестандартностью, к родовым признакам рока никакого отношения не имеющей. Или Александр Розенбаум — это особый гитарно-поэтический жанр, но и его представляют наделенным этаким «роковизной».

— Ну, а если взять тот сплошной поток весьма невысокого уровня эстрадных песен, которые постоянно звучат в телевизионных программах, — быть может, их ритмический строй и основан на интонациях рока, но, по-моему, это расчет на невысокий вкус, под маркой рока «проглатывающий» подчас откровенную пошлость...

— Вы знаете, я всегда теряюсь, когда приходится абсолютизировать какие-то определения. Вот вы сказали — пошлость, а я совсем не уверен, что это именно то слово, которое здесь уместно. Может быть, это не пошлость, а очередная беспредрассудочность? То, что делает тот же Гребенщиков, тоже ведь кому-то может показаться пошлостью, а мне вот не кажется. Но у какого-то другого исполнителя

те же приемы, средства немедленно вызывают ощущение пошлости — граница, таким образом, оказывается как бы за пределами жанра. Скорее всего все зависит от личности...

— Вы говорили о развитии современной классической музыки, которое неизбежно даже в экстремальных условиях всеохватного наступления рока. Существует ведь еще и так называемое третье направление, подразумевающее синтез классических музыкальных стилей и неклассических, игровых элементов, близких к жанру эстрадной «легкой» музыки. Приверженцами этого направления выступают сегодня весьма достойные и яркие композиторы, такие, как Владимир Дашкевич, Алексей Рыбников, Геннадий Гладков и другие. Насколько перспективен этот путь?

— Я бы не стал подробно рассуждать на эту тему просто потому, что я здесь недостаточно компетентен. Знаю только, что идея такого «третьего» направления возникает не впервые. Еще когда Гершвин в 30-е годы писал свою оперу «Порги и Бесс», которая откровенно выламывалась из привычных рамок оперного жанра, это казалось новым, как бы «третьим» направлением — по отношению к классической опере и к эстраде. Или лет 20—25 тому назад американский композитор Гюнтер Шуллер, начинавший как авангардист, ушел в джаз и занимался в нем поиском новых форм. Да и гораздо раньше можно отыскать примеры встречных развитий — здесь и Стравинский, и Сати, который еще до первой мировой войны сочинял парадоксальную сатирическую музыку с использованием внемузыкальных элементов. То есть я хочу сказать, что во все времена находились композиторы, которые писали музыку, интересную не только по нотам, но и по тому ассоциативному кругу, который вокруг этих нот возникал. Все это давало определенную пищу разуму, вызывало отклик, но никогда, по моему убеждению, не вырастало в новую, «третью» волну. Мы и сейчас явно преувеличиваем, выделяя различные музыкальные течения, направления, стили; даже в самом, казалось бы, устоявшемся и принятом разграничении «легкой» музыки и музыки «серьезной» присутствует, по-моему, момент абсолютизации чего-то очень частного и преходящего. Время суммирует все частности, и будущее, пока нам неизвестное, получит цельную картину того мира, в котором мы сегодня живем.

Так было всегда. Скажем, в XII веке существовало два крайних проявления музыки — песни миннезингеров и начинавшая развиваться профессиональная музыка. А сегодня для нас это единый музыкальный мир, в котором нет разграничений.

Или, допустим, времена Баха — вероятно, музыка, составившая основу английских или французских сюит Баха, кому-то могла бы показаться «легкой» — по сравнению с его же мессами. А уже лет через сто это противопоставление потеряло смысл: оба направления составляют в единый мир Баха.

Так что, думаю, пройдет время, и сегодняшняя ситуация в музыке покажется совершенно неактуальной.

— Быть может, все же два наших основополагающих музыкальных направления — «легкое» и «серьезное» — для следующих поколений останутся как бы сколком двух сфер нынешнего социального состояния общества: так сказать, духовной, высшей сферы и материальной, бытовой?

— Опять я вынужден признаться в своих опасениях по поводу абсолютных понятий, определений, точных слов — их я тоже отношу к преходящим по смыслу явлениям. Вот вы говорите: социальное, духовное, материальное. Я хочу вас спросить: скажите, какое имело значение слово «социальное» 150 или 200 лет назад? Было ли оно столь определяющим, как сейчас, — а ведь к тому времени человечество накопило уже тысячелетний опыт развития. В нашу же эпоху уже долгие годы это слово занимает едва ли не ведущее место. Но я не знаю, что будет завтра или, во всяком случае, через сто лет.

А вообще все так: наше существование строится

на двух уровнях — низком и высоком, и человек живет на этих двух уровнях не оттого, что он беспринципен и не может выбрать. В самой жизни присутствуют два этих крайних плана, которые находятся в постоянном взаимодействии. В 1972 году я написал Первую симфонию, в которой попытался это взаимодействие самым открытым образом представить, совместить два уровня нашей жизни. Эту симфонию я писал четыре года и стремился выразить в ней все, что я думаю о музыке — о симфонической форме, о музыкальной технологии. Здесь получилось несколько музыкальных слоев — есть слой серьезного языка, есть слой языка мнимосерьезного с использованием цитат из лучших образцов мировой музыки — тут и Пятая симфония Бетховена, и Первый концерт Чайковского, и Похоронный марш Шопена... Эти образцы я ввел в свою симфонию в искаженном виде, искаженном путем многократного цитирования. Можно ведь абсолютно чистую и правдивую мысль превратить в немыслимую ложь, ничуть ее не искажая, а просто много раз повторяя и тем самым превращая эту мысль в многократно используемую таблетку. Такими таблетками становятся для нас иные произведения «популярной» классической музыки, не смолкающие в эфире. Существовал в Первой симфонии и еще один пласт — огромное количество всевозможных цитат и псевдоцитат из фильмов, к которым я писал музыку: сочиненные по заданиям режиссеров многочисленные духовые марши, вальсы для балов... Такие временами возникающие горы музыкального мусора... Были и другие цитаты — в частности, темы из григорианского хора; была и острая интонационная музыка, звучащая на множество голосов; был джаз и даже «фашистские» марши. И все это находилось в постоянных взаимоотношениях и обложено было в форму игры. Симфония начиналась с того, что оркестранты по очереди выбегали из-за кулис на сцену, на ходу наигрывая что-то на своих инструментах.

— И как была встречена ваша Первая симфония?

— Впервые она была сыграна в Горьком, оркестром под управлением Геннадия Рождественского, потом, в 1975-м, — в Таллине, где дирижировал Эри Клас. Были публикации, обсуждения — самые разнообразные, затем, в течение десяти лет, это сочинение не исполнялось. А несколько лет тому назад на музыку Первой симфонии был поставлен балет... «Трамвай «Желание». Поставил его Джон Ноймайер, руководитель балета в Гамбурге. Человек удивительный и мне очень симпатичный — быть может, потому, что судьбы наши в чем-то схожи. Он родился и вырос в Америке, по предкам — немец с французской кровью. Я родился и вырос здесь, по предкам — полунемец, полужиды. Так вот, этот Джон Ноймайер, собираясь ставить свой балет «Трамвай «Желание», переслушал много всякой музыки, а остановился на моей Первой симфонии, которую услышал в горьковской записи, со всеми ее техническими несовершенствами. Он ничего не знал про эту музыку, но, видимо, что-то почувствовал для себя важное — то, что было важно и для меня.

— Очевидно, сказались общечеловеческое содержание вашей музыки. Что же касается ее субъективного, конкретного наполнения, то она и по сей день чрезвычайно актуальна — все так же приняты в употреблении «таблетки многократного использования». Тиражирование, обесценивание, растрата генетической культуры остаются печальными признаками нашей жизни. Настало время всерьез задуматься о восстановлении потерь...

— Для меня вопрос: восстановимо ли все то, о чем вы говорите? Боюсь, что большая часть утрачена безвозвратно, и это закономерно в истории человечества. Ведь безвозвратно утрачено то восприятие мира, которое отличало, скажем, древних греков и отразилось в творениях Гомера. Все наши надежды, что когда-нибудь вернется это первоначальное мифологическое мировосприятие, скорее всего неоправданны. И так же безвозвратно ушло многое из того, что определяло жизнь, отношения и настроения людей 700 и 800 лет назад и гораздо позже. Больше не напишется «Божественная комедия», не родятся Гете, Томас Манн, Гессе, Булгаков...

— Но ведь восстановима память — память о состоянии умов, уровне сознания и мировосприятия, определяющих ту или иную эпоху. Не случайно ведь идет сейчас процесс заполнения белых пятен истории страны, ее общественно-политического развития, ее науки, экономики, литературы... Такое заполнение необходимо и в области истории развития музыки — в частности, это касается того поколения музыкантов, к которому принадлежите вы и ваши товарищи по музыкальному авангарду 50-х годов. Ведь то было целое поколение? Альфред Шнитке, Софья Губайдулина, Эдисон. Денисов, Николай Каретников...

—...Сергей Слонимский, Борис Тищенко, Валентин Сильвестров, Арво Пярт... Да, конечно, можно говорить и о поколении, о том общем, что было у нас,

и вместе с тем о том, что от каждого поколения остаются прежде всего отдельные имена. Разумеется, любой человек, независимо от своего личного развития, вмещает в себя сумму общих свойств, общей судьбы. Только со временем чувство этой общности, этой коллективной судьбы может теряться. Вот к примеру: кто для нас является воплощением музыки 50-х годов? Шостакович прежде всего и еще недолго проживший в те годы Прокофьев. Может быть, еще Мясковский, Шапорин, Хачатурян. А ведь тогда жили и работали еще очень многие композиторы, некоторые из них и по сию пору живут и работают, только они не получили столь высокого признания. Но я прекрасно понимаю, что Шостакович на нуле возникнуть не мог, он вбирает в себя незримую сумму свойств своих коллег — их творчества, их поисков и устремлений. Остается надеяться, что в каком-то следующем времени, в следующих поколениях найдутся люди, которые смогут более объективно разобраться в том ушедшем времени 50-х годов, которое мы — мое, допустим, поколение — недостаточно оценили. Ведь подвергаем же мы сейчас переоценке музыкальную ситуацию 20-х годов — в наши дни очень сильно возрос интерес к таким именам, как Александр Мосолов, Николай Рославцев, Владимир Дешевов, Гавриил Попов, — все это композиторы необычайно интересные, искавшие и находившие в свое время новые пути развития музыки.

— Но вернемся к вашему поколению. Его не скрывает завеса тайны, почти все его представители находятся во здравии и продолжают плодотворно работать. Можно ли уже сейчас говорить о той роли, какую сыграла ваша генерация в развитии советской музыки?

— Пожалуй, да, уже сегодня я могу дать себе отчет в том, что происходило со мной и с моими коллегами в начале 50-х годов. Начиная с 1953 года шло постепенное воскрешение интереса к музыкальной современности. Впервые прозвучала Десятая симфония Шостаковича — впервые после 1948 года, года выхода постановления об опере Мурадели «Великая дружба», который был пунктом «ноль» в истории советской музыки. Эта симфония произвела огромное впечатление на всех — на то большинство, которое на нее дружно ополчилось, на то меньшинство, которое это сочинение приветствовало и поддерживало, а также на тех, кто не знал, как на все это реагировать. Это было время, когда люди все еще говорили не совсем то, что они думают, — но уже не потому, что боялись (хотя и то еще было), но в большей степени от недоверия к себе, к своей способности судить — а вдруг я неправильно думаю, вдруг я органически склонен к ошибкам?! Все, что происходило в последующие годы, было неуклонным возвращением нормальной ситуации, ситуации свободы и человеческого достоинства. Причем процесс этого возвращения совершался очень быстро: так, я помню, еще в 1953 году в кабинете звукозаписи Московской консерватории нельзя было прослушивать записи таких композиторов, как Стравинский, Барток, не говоря уже о Шёнберге, без специального на то разрешения, а к 1955 году уже можно было слушать свободно. Вернулось все, что было запрещено и скрыто от нас 48-м годом; и примерно до 1961—1962 годов шло непрерывное возвращение изгнанного. Затем пошел новый процесс — процесс восстановления контакта с сегодняшним днем: например, исполнялись произведения Андрея Волконского, талантливейшего композитора, в свое время изгнанного из Консерватории и не пожелавшего идти на уступки и извинения. Начиная с 1962 года наши композиторы, прежде всего Э. Денисов, стали ездить на ежегодный фестиваль современной музыки «Варшавская осень», откуда привозили записи новейших сочинений Пендерецкого, Берно, Ноно. Менялись наши представления, углублялось развитие. В конце 1963 года в нашу страну приехал Луиджи Ноно, который демонстрировал свои сочинения в Союзе композиторов. Мы впервые увидели живого авангардиста, облик которого никак не вязался с вдовольным в наши головы «чуждым» стереотипом сухого, механического человека. Композитор оказался очень темпераментным, импульсивным, тонко чувствующим и понимающим. Это был своего рода психологический переворот. Потом произошло знакомство с творчеством других авторов — Штокхаузена, Лютославского, Лигети, Пуссера, следом — письменные контакты, обмен нотами, пластинками, книгами... Где-то к 1966 году для меня была уже совершенно ясна моя ситуация в современной музыке и то место, которое я мог в ней занять. Вдруг стало понятно, что необходимо не только изучать других, но и развиваться самому, временно дистанцироваться от приобретенных знаний и впечатлений. Нужно было становиться самим собой, иначе возникала угроза превратиться в этакое постоянное регистраторство ежегодной моды. Что же касается моих коллег, товарищей по устремлениям, то к этому же времени все больше и больше нас отличала не общность, не совпадение, а то разное, что характеризовало каждого в отдельности. Поэтому я и здесь не слишком доверяю словам, определениям, обозначениям и стал бы говорить не о группе авангардистов, а о нескольких композиторах, заявивших о себе в 50—60-е годы. Не буду судить о других, но у меня, например, к концу 60-х годов были уже совершенно индивидуальные проблемы — я начал работать в кино, которое требовало от меня выполнения очень конкретных и часто не особенно высоких по уровню задач, и их надо было сочетать с теми требованиями, которые я сам перед собой ставил в музыке вне кино. Я искал тот единый личный центр, откуда я смогу, оставаясь самим собой, писать музыку живую и жизнеспособную, а не бескрыло-авангардную и в то же время, продолжая работать в кино, сочинять музыку, которая поднималась бы выше красивой халтуры. Я понимал, что единонасающего рецепта нет и никогда не будет и что каждый приговорен к самому себе, но все же искал. Помимо сочинения, я в то время еще и писал статьи, занимаясь анализом музыки Шостаковича, Прокофьева и Стравинского; изучая партитуры их произведений, я обнаружил, что при всем различии у этих авторов было очень много сходного; оно, это сходное, выходило за рамки нормативности и школьности музыкальной техники, школьных представлений о взаимодействии стилей, то есть внутри единого стиля были некоторые повороты. Сопоставляя такие разные произведения Стравинского, как «Весна священная», «История солдата», «Регтайм», «Поцелуй феи», «Реквием», я видел, что каждый раз это был все тот же Стравинский, только в разном обличье. В наше время распространены упреки в адрес этого композитора — мол, он все время поворачивался то за одной модой, то за другой, теряя индивидуальное лицо. Но он поворачивался, всякий раз оставаясь Стравинским, — и в том была его индивидуальность! Только это почему-то никому не приходило в голову. В каком-то смысле то была печать времени — не погоня за модой, а свидетельство и отражение в музыке ситуации всевозрастающих межличностных контактов, невероятных по скорости переключений с одного круга общения на другой, с одного объекта на другой.

Что же говорить о том, сколь возросли эти скорости в наше время! Сегодняшний человек, включивший приемник и прогуливающийся по волнам, охватил огромный звуковой мир. И мне стало ясно, что с этим не стоит бороться, а нужно отнестись как к реальности и в этой реальности продолжать искать себя, сохраняя в огромном мире полистилистики свою индивидуальность.

— Вы сказали, что свою ситуацию в музыке смогли определить к концу 60-х годов, но ведь то было переломное время...

— Но притом время довольно заметное. В 1968 году Карлхайнц Штокхаузен, например, создал произведение «Из семи дней», которое было записано не нотами, а словами — такое медитативно-музыкальное упражнение. Это был момент колоссального подъема, кульминации в музыкальном развитии, когда музыка перешла на новый уровень, более контролируемый словами и понятиями, нежели собственно музыкальной техникой. Казалось, впереди очередной рывок, который приведет на следующий уровень — мысли, интуиции, еще бог знает чего, но этого не произошло. Потому что 1968 год, как вы правильно заметили, оказался годом переломным. Для нас, как выяснилось, это был перелом в сторону застоя; художники других стран имели свои субъективные ощущения. Мало кто отдавал себе отчет в том, что происходит, но теперь я понимаю, что все живущие на земле люди что-то чувствовали. Вот если бы можно было подняться на тот высший круг реальности, куда все сходится и где объяснение всему, что с нами происходит, а то ведь мы существуем на кругу низшем и лишь отражаем в своих частных судьбах некое общее движение. И когда совпадают свойства слишком многих отражений, наверное, можно говорить о какой-то общей причине...

— В 1968 году режиссер Андрей Хржановский снял мультипликационный фильм «Стеклянная гармоника» — пронзительную притчу о кризисе культуры, о девальвации нравственных понятий, о тотальном наступлении бюрократии. Картина эта немало тогда раздражала кинематографическое начальство и до недавнего времени существовала на полулегальных началах. Вы писали музыку к «Стеклянной гармонике», где применили метод излюбленной вами полистилистики — с использованием цитат и псевдоцитат, стилизаций и тематизма... Быть может, в этой работе также отразилось ваше субъективное ощущение времени на тот момент?

— Скорее всего в «Стеклянной гармонике» выразились ощущения самого Андрея Хржановского, а также Геннадия Шпаликова, писавшего сценарий этого фильма. Для меня же такая кульминационная точка в осмыслении времени наступила позже, в 1972 году, когда я написал Первую симфонию. Никогда, ни до, ни после, я не стремился быть столь

раскованным и недогматичным. Кстати, здесь как раз сыграло свою роль кино, где я работал тогда весьма интенсивно.

— Мне кажется, кино вообще занимает в вашей судьбе особое место, не говоря уже о том, какое место занимает ваше творчество в судьбе нашего кинематографа. На эту тему можно написать целое фундаментальное исследование, доказав, что ваше участие в создании лучших советских фильмов последних двадцати с лишним лет во многом обусловило уровень, гражданский и художественный, этих фильмов. В самом деле — «Похождения зубного врача», «Дневные звезды», «Комиссар», «Шестое июля», «Спорт, спорт, спорт», «Дядя Ваня», «И все-таки я верю», «Агония», «Белый пароход», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Восхождение», «Маленькие трагедии», пушкинская трилогия Андрея Хржановского... И тут, мне кажется, существует обратная связь — вы привносите в кино ваш уровень мировосприятия, но и кинематограф словно бы размыкает: достаточно интимный и замкнутый круг вашего творчества, привнося дыхание новых тем, реальностей, впечатлений.

— Скорее всего вы правы, и все же я всегда ставил работу в кино на второе место по сравнению с внекинематографической деятельностью. Наверное, потому, что среди главных мотивировок моего обращения к кино оставалась мотивировка грубо материальная — необходимо было элементарно зарабатывать деньги. Посудите сами — в период с 1962 по 1978 год, за пятнадцать лет, мне удалось продать всего одно сочинение; многое из мной написанного исполнялось в концертах, но не приобреталось ни Министерством культуры, ни радио. Преподавание в Консерватории помогало лишь в малой степени, и в итоге нужно было чем-то жить. Но другое дело — если уж я воспринимал работу в кино как некую реальную необходимость, то старался, чтобы эта необходимость все же несла для меня интерес и чтобы увлеченно и приятно работалось с людьми. Мне повезло с первой же картины — это было «Вступление» Игоря Таланкина, с ним я продолжал сотрудничать долгие годы. Потом возникли и укрепились контакты с Элемом Климовым, Ларисой Шепитько, Александром Миттой, Андреем Хржановским, Андреем Смирновым, Михаилом Швейцером. Причем эти контакты важны для меня как в творческом отношении, так и в человеческом. Например, Андрей Смирнов был мне интересен прежде всего сам по себе, в то время как работа над его фильмами не принесла большого удовлетворения. В картину «Белорусский вокзал», к примеру, не вошло ни такта моей музыки — мы вовремя спохватились, поняв, что этот фильм не терпит авторской музыки, и довольствовались оркестровкой песни Булата Окуджавы в финале. А в фильме Смирнова «Осень» я остался недоволен своими попытками воспроизвести стиль рока, который, как выяснилось, я совсем не чувствую. Хотя, повторяю, остаюсь его поклонником и разумным приверженцем.

— Ну, во времена «Осени» рок существовал на положении глубоко нелегального, то было начало его неофициального расцвета. Зато теперь, в период полной легализации и популяризации рок-музыки, ее сторонники немало встревожены: оказывается, элемент запрета, недозволенности являлся органической составляющей нашего рока, вне которой он неминуемо теряет в остроте и силе.

— Думаю, тут произошло то же самое, что случилось, только в более серьезном плане, с писателями и художниками. Все те, кто годами, десятилетиями производил впечатление сильное и острое в ореоле запрета и теперь вдруг получил открытое право на творчество, вдруг оказались несостоятельными. По-прежнему самое сильное впечатление производят Булгаков, Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Цветаева. Конечно, интересно сегодня читать и Айтматова, и Вознесенского, и Битова, и Гранина, и произведения их обещаю дальнейший подъем нашей литературы, но казалось также, что вот-вот наступит нечто совершенно сенсационно новое! А оно не наступило. Оказалось, важно иметь, что сказать, а не только как говорить.

— Вас лично такая проблема, кажется, не коснулась?

— Да нет, я, как и многие мои коллеги, все эти годы делал то, что считал, что чувствовал нужным, не оглядываясь на условия. Условия ведь все время меняются — то они абсолютны против тебя, то имеют как бы нейтральную окраску, а теперь вот вроде бы целиком «за». Что, впрочем, не исключает вероятности, что тот возросший интерес, который я сейчас к себе испытываю, завтра повернется, изменится. Ну и что же, я тоже должен поворачиваться вслед за этим меняющимся интересом? Я вовсе не из-за этого интереса работаю, я работаю по некоей внутренней необходимости, словно бы и помимо собственного желания. Слава богу, что сейчас эта моя необходимость совпала с общим движением. Не знаю, что будет завтра. Знаю только, что я буду по-прежнему садиться за работу, как

всегда, два раза в день, где-то с 11 до 13 и с 17 до 19 часов. Уже несколько лет я не работаю в кино, потому что меня не хватает на собственно музыку. И это при том, что у меня сейчас ощущение времени совершенно иное, чем было всю жизнь. Почти три года тому назад мне пришлось пережить тяжелый инсульт, и с тех пор время кажется чрезвычайно наполненным, долгим. У меня ощущение такое, будто за эти годы произошло столь многое, что раньше не происходило в течение десяти лет.

И у меня такой вопрос к вам, как к человеку, не испытывавшему такой перемены в отсчете времени, — произошли ли такие же перемены во всеобщем восприятии времени?

— Как это ни парадоксально и в чем-то даже кощунственно ни прозвучит, но вам в пору позавидовать — ваше субъективное время удивительно сошлось со временем историческим. Новое качественное наполнение времени совпало у вас с новым количественным его ощущением — и в этом смысле вы обладаете явным преимуществом перед всеми нами. Мы ведь продолжаем существовать в прежнем ритме, суетном и быстротекущем, в который необходимо вставить новый объем дел, мыслей, чувств, представлений. И перегрузка тут неизбежна...

— Да, я как бы закончил один виток спирали и начал другой — без суеты, ложно заполняющей мое время. Ведь как было раньше: общение, разговоры, посещение концертов, театров, и казалось, что все одинаково важно, жизненно необходимо. При этом случалось уехать куда-нибудь на месяц, и все это, казавшееся необходимым, куда-то неминуемо отодвигалось. Возвращался и замечал, что ничего страшного не произошло оттого, что с кем-то не пообщался, с кем-то не поговорил, не сходил на концерт, не посетил спектакль... Можно, оказывается, без всего этого прожить, только не было сил на это решиться. А теперь для меня все это отпало само собой — я просто почти не выхожу из дома, вот и все. Я — работаю...

— ...А с чего для вас началась музыка?

— Перед самой войной я гостил у бабушки с дедушкой в Москве; они водили меня на приемный экзамен в ЦМШ, но я даже точно не помню — выдержал я его или нет. Началась война, меня отослали в мой родной город Энгельс, где я прожил вместе с родителями до 1946 года. Когда вернули конфискованные во время войны радиоприемники, я стал слушать музыку — особенно нравились арии из опер, и очень хотелось петь самому. Помню, слушал первое исполнение по радио Девятой симфонии Шостаковича, и мне это было тогда малоинтересно. Никаких других контактов с музыкой не было — так, пару раз наигрывал что-то на соседской трофейной губной гармошке...

Мне было уже 12 лет, когда мы приехали в Вену, где мой отец работал переводчиком в газете «Эстеррайхше цайтунг», издававшейся на немецком языке нами для местного населения. За какие-то заслуги отцу на работе вручили аккордеон марки «Хонер», в котором были неполные ряды басов. Но я все же сочинил на нем некую мелодию, после чего меня отвели на верхний этаж нашего дома, где проживала пианистка фрау Рубер — у нее я и начал заниматься. Довольно скоро, помню, опять пытался сочинять — сначала концерт для аккордеона с оркестром (!), затем прелюдии для фортепиано. Сочинил как-то пьесу, где было две темы; фрау Рубер услышала и сказала: это же сонатная форма! А я и не знал, что это такое.

За два года жизни в Вене я несколько раз побывал в опере и на симфонических концертах. Потом мы вернулись в Советский Союз и поселились под Москвой, в Валентиновке. Все мои отношения с музыкой вновь ограничивались аккордеоном...

...В августе 1949 года, за несколько дней до учебного года, к нашим соседям пришел в гости некий человек, который оказался бухгалтером музыкального училища имени Октябрьской революции. Уже не помню, почему зашел разговор обо мне и о музыке, но человек этот посоветовал отвезти меня в училище — сказал, что приемные экзамены еще не окончены. Со мной поехал отец — я сыграл перед приемной комиссией что-то на рояле, весьма плохо; обнаружил полное незнание теории музыки; и, как показало испытание, не обладал абсолютным слухом — только очень хорошим относительным. Меня приняли на дирижерско-хоровое отделение, где все эти мои недочеты не имели значения. Потом уже я попал на фортепианное отделение к очень хорошему педагогу Василию Михайловичу Шатерникову; чуть позже начал заниматься теорией у Иосифа Яковлевича Рыжкина. Ему я показывал свои первые полупрофессиональные сочинения, он и привел меня в Консерваторию, куда я поступил на композиторское отделение, в класс Евгения Кирилловича Голубева. И дальше уже моя музыкальная жизнь протекала довольно упорядоченно.

Так что мог и не появиться в гостях у соседей тот самый бухгалтер, и неизвестно, как все сложилось бы...

ЕЩЕ РАЗ О ПРОИСКАХ И ЗАГОВОРАХ

Мы поздравляем редакцию и редколлегию «Нашего современника» с началом публикации романа Виктора Иванова «Судный день». Судя по первой подаче в четвертом номере журнала, эта штука будет посылать иных фаустов времен шпионмании и борьбы с космополитизмом. Автор серьезно подошел к стоящей перед ним задаче и творчески усвоил исторический опыт — от классического наследия так называемых «Протоколов сионских мудрецов» до памятных воззваний последнего периода.

Смело можем утверждать: после шевцовской «Тли» такого наш рядовой советский читатель в руках еще не держал. То, что до сегодняшнего дня было окружено флером недоумков и слухов, наконец-то заявлено в полный голос со страниц уважаемого журнала. Теперь мы знаем:

— заговор жидомасонов, направленный в первую очередь против России, был составлен царем Соломоном, и это «Соломон вычислил, что к полной победе масонство придет только через три тысячи лет», то есть как раз сегодня;

— масоны свергли царя, развязали вторую мировую войну, а сегодня начали разлагать наше общество изнутри, внедряя диверсантов, которые уводят простых жен от простых мужей. Те начинают пить, втягивают в компанию каждый еще двоих, и вот уже три семьи развалились. (Ибо пьют русские обычно на троих);

— уже в двадцатые годы в состав белогвардейских диверсионных групп обязательно входил масон, а теракты были лишь ширмой для внедрения масонов в советскую жизнь;

— в настоящее время масоны внедрились в каждую ячейку советского общества, они его «размывают» и уже почти поработили нас «не силой оружия, но силой внутренних раздоров, недовольства собственным строем, а также экономической слабостью».

Герой романа, Ефим, засыпается с нехорошей целью в СССР. Его шеф, Костя Безродный, неплохо натаскал ученика. Тот легко проходит линию океанского прибора, отыскивает в тайге тайник, вооружается инструментами и внедряется в высокоморальный трудовой коллектив. Он уже наметил первую свою жертву, нашу Наташу, получил типографский станок для печатания вредной Библии и солидное количество порнографических открыток. (Бедная Наташа!) Его заправил интересует все — «вплоть до обмаранных детских пеленок». И это понятно: если отношения с Наташей и дальше будут развиваться столь стремительно (они уже купались вместе!), по всей вероятности, «обмаранных пеленок» Ефиму не избежать.

Жаль. Ведь у Ефима так много дел и по непосредственной специальности: «как можно больше людей увлечь религией», «на пленку брать невзрачные картины быта, пьянки, драки, убийства...»

Правда, Иванов не объясняет, откуда все это у нас, ведь Ефим еще лишь приступает к соблазнению Наташи и тотальному развалу крепкой советской семьи. Да и Наташа не замужем, так что агент явно отклонился от программы... Впрочем, есть и другие у него цели — «создавать толкучку, неразбериху, насаждать национальную рознь, неприязнь».

Признаемся: последняя фраза нас покорила, и, пользуясь предложенной в «Судном дне» методологией, мы внимательно перечитали захватывающее повествование В. Иванова. И хотим поделиться своим открытием с редакцией «Нашего современника»:

Братья! Вас предали! Роман-то масонский! Ведь он как раз и «насаждает национальную рознь», не говоря уже о «неприязни». А поскольку язык романа таков, что никак нельзя заподозрить в авторстве человека с русской фамилией, мы пойдем и дальше: не иначе, как написал его сам царь Соломон. Три тысячи лет назад. Уж больно мышление дремучее.

Отдел литературы «Огонька» искренне предупреждает коллег из «Нашего современника», что враг проник в их славные ряды.

Сообщаем об этом, не дожидаясь продолжения романа в следующих номерах.

НЕ ДОЛЮБИВ, НЕ

Михаил Луконин написал когда-то так о Сталинграде: «Мы захватчиков его красотой разбили». Но мы разбили захватчиков не только красотой наших городов, но и душевной красотой лучших молодых поэтов нашей страны, пожертвовавших своим будущим. Мост к Победе был построен на костях талантливейших людей Отечества. Может быть, многие из них остались бы живы, если бы столько лучших красных командиров не было уничтожено перед войной, если бы после трескучего шапказакладательства мы бы не оказались почти с голыми руками перед бронированными мордами рычащих гитлеровских «тигров», уже обнюхивавших пригороды Москвы. Внутри сошедшихся перед войной для рукопожатия ладоней Молотова и Риббентропа хрустнуло столько хрупких юных жизней. Коля Отрада погиб еще на финской — «на той войне незначительной», — как писал Твардовский.

Поэты, чьи стихи мы сегодня печатаем, так и не узнали, какой именно день станет Днем Победы. Н. Глазков так описывал приход М. Кульчицкого к нему в первый день войны: «К папиросе поднеся огниво, закурил, подумал, дал ответ: «Пить мы будем мюнхенское пиво, а война продлится десять лет». Кульчицкий ошибся в дате победы на шесть лет.

У молодых поэтов тех лет, несмотря на юный возраст, было трагическое предчувствие гибели. Они инстинктивно не поверили помпезной теории победы «малой кровью». Кровь павших поэтов вплелась неотрывными нитями в Знамя победы, воздвигнутое на рейхстаге.

Б. Слуцкий признался, что перед войной он написал разгромную статью о стихах впоследствии погибшего на фронте ленинградца Ю. Инге. Статья, однако, не была напечатана. Слуцкий со вздохом благодарил судьбу: «Как хорошо, что был редактор зол и мой «подвал» крестами переметил, и что товарищ Инге перед смертью его, скрипя зубами, не прочел». Поучиться бы иным поэтам, в частности С. Куняеву, считающемуся учеником Слуцкого, такому подходу и уважать погибших... Мы еще не сказали погибшим всех слов благодарности: других они не заслуживают. Память о павших за Родину поэтах священна. Никому не позволительно унижать Вечный огонь славы.

ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ

РУССКАЯ МУЗА XX ВЕКА

ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО



Владислав
ЗНАДВУРОВ
1914—1942

В ОХОТНИЧЬЕЙ ИЗБУШКЕ

Когда в ледяшки превратятся ноги,
А путь лежит в Крестовую Губу,
Ты будешь счастлив, посреди
дороги
Наткнувшись на охотничью избу.

Я дверь открыл. Здесь было все,
что нужно
Для путника, озябшего в ночи:
Дрова, дымясь, потрескивали
дружно,
И громко пел кофейник на печи.

Но для того, кто двое суток
Плутал по тундре, не смыкая глаз,
Милей огня и добрых самокруток
На низких нарах брошенный
матрац.

Я слышал сквозь дремоту,
как мужчина
Растер мне ноги и раздел меня,
Закутал по-домашнему овчиной
И в горло вылил два глотка
огня...

А утром только узкий след
от нарты
Бежал на юг пустынной белизной.
Да наспех нарисованная карта
Среди мешков лежала предо мной.

Начерченную углем на газете
Ту карту до сих пор я берегу,
Но кто навел хребты и горы эти,
По ней никак узнать я не могу.

Я не запомнил ни его походки,
Ни голоса, ни взгляда, ни лица,
Не знаю — то ль мы были одноклассники,
То ль старше был он моего отца.
Но год за годом кажется все чаще,
Что я встречаюсь постоянно с ним
В поселках, поездах,
таежных чащах
И каждый раз под именем другим.



Георгий
СУВОРОВ
1919—1944

Еще утрами черный дым клубится
Над развороченным твоим жильем.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.

Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Цветы живые голубых акаций
И в них восторженные соловьи.

Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день — мы выпьем
боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет
двери,
С рассветом новым встанет тишина.

В воспоминаньях мы тужить
не будем.
Зачем туманить грустью ясность
дней?
Свой добрый век мы прожили
как люди —
И для людей...



Михаил
КУЛЬЧИЦКИЙ
1919—1943

САМОЕ ТАКОЕ (фрагмент)

Я очень сильно
люблю Россию,
но если любовь
разделить
на строчки —

получатся — фразы,
получится
сразу:
про землю ржаную,
про небо про синее,
как платье.
И глубже,
чем вздох между точек...
Как платье.
Как будто бы девушка это:
с длинными глазами речек в осень
под взбалмошной прической
колосистого цвета,
на таком ветру,
что слово...
назад...
приносит...

И снова
глаза
морозит без шапок.
И шапку
понес сумасшедший простор
в свист, в згу.
Когда степь
под ногами
накрывается
набок,

вцепляешься в стебли,
а небо —
внизу.
Под ногами.
И боишься
упасть
в небо.
Вот Россия.
Тот нищ,
кто в России не был.

Я раньше думал: «лейтенант»
звучит «налейте нам».
И, зная топографию,
он топает по гравию.

Война ж совсем не фейерверк,
а просто — трудная работа,
когда —

черна от пота —

скользит по пахоте пехота. —
вверх —
Марш!
И глина в чавкающем топоте
до мозга костей промерзших ног
наворачивается на чеботы
весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино.



Николай
ОТРАДА
1918—1940

ФУТБОЛ

И ты войдешь. И голос твой
потонет
в толпе людей, кричащих
вразнобой.
Ты сядешь. И как будто на ладони
большое поле ляжет пред тобой.

И то мгновение, верь, неуловимо,
когда замрет восторженный народ, —
удар в ворота! Мяч стрелой и...
мимо.
Мяч пролетит стрелой мимо ворот.
И, на трибунах крик души
исторгнув,
вновь ход игры необычайно
строг...

Я сам не раз бывал в таком
восторге,
что у соседа пропадал восторг,
но на футбол меня влекло другое,
иные чувства были у меня:
футбол не миг, не зрелище благое,
футбол другое мне напоминал.

Он был похож на то, как ходят
тени
по стенам изб вечерней тишиной.
На быстрое движение растений,
сцепление деревьев, переплетенье
ветвей и листьев с беглою луной.

Я находил в нем маленькое
сходство
с тем в жизни человеческой,
когда

ДОСКАЗАВ...

идет борьба прекрасного
с уродством
и мыслящего здраво
с сумасбродством.
Борьба меня волнует, как всегда.

Она живет настойчиво и грубо
в полете птиц, в журчании ручья,
определенна,
как игра на кубок,
где никогда не может быть ничья.



**Николай
МАЙОРОВ**
1919—1942

Мы

Есть в голосе моем звучание
металла.
Я в жизнь вошел тяжелым
и прямым.
Не все умрет, не все войдет
в каталог.
Но только пусть под именем моим
потомок различит в архивном хламе
кусочек горячей, верной нам земли:
где мы прошли с обугленными ртами
и мужество как знамя пронесли.

Мы жгли костры и вспять пускали
реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
железом обозначены следы,—
так в нас запали прошлого
приметы.
А как любили мы — спросите жен!
Пройдут века, и вам солгут
портреты,
где нашей жизни ход изображен.

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
о людях, что ушли, не долюбив,
не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
крутых путей к последней высоте,
мы б сохранились в бронзовых
ваяньях,
в столбцах газет, в набросках
на холсте.

Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
чтоб к вам прийти лишь
в пересказах устных
да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
тянули воду полными глотками.
И в женщину влюблялись не спеша.
И шли вперед и падали, и, еле
в обмотках грубых ноги волоча,
мы видели, как женщины глядели
на нашего шального трубача,
а тот трубил, мир ни во что
не ставя

(ремень сползал с покато
плеча),
он тоже дома женщину оставил,
не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень тверд, уступы
каменисты,
почти со всех сторон окружены,
глядели вверх — и небо было
чисто,

как светлый лоб оставленной жены.

Так я пишу. Пусть неточны слова,
и слог тяжел, и выраженья грубы!
О нас прошла всесветная молва.
Нам жажда зноем выпрямила губы.

Мир, как окно, для воздуха
распахнут,
он нами пройден, пройден
до конца,
и хорошо, что руки наши пахнут
угрюмой песней верного свинца.

И как бы ни давили память годы,
нас не забудут потому вовек,
что, всей планете делая погоду,
мы в плоть одели слово «человек»!

1940



**Борис
СМОЛЕНСКИЙ**
1921—1941

ВСТУПЛЕНИЕ

Я сегодня весь вечер буду,
Задыхаясь в табачном дыме,
Мучиться мыслями о каких-то
людях,
Умерших очень молодыми.
Которые на заре или ночью
Неожиданно и неумело
Умирали,
не дописав неровных строчек,
Не долюбив,
не досказав,
не доделав.

1939



**Вадим
СТРЕЛЬЧЕНКО**
1912—1942

РОДИНЕ

(Надпись на книге)

Трижды яблоки попевали.
И пока я искал слова,
Трижды жатву с полей собирали
И четвертая всходит
Трава.

Но не только сапог каблуками
Я к земле прикасался
И жил
Не с бумагами да пузырьками
Чёрных, синих и красных чернил!

Но, певец твой, я хлеба и крова
Добивался всегда не стихом,
И умру я в бою
Не от слова,
Материнским клянусь молоком.

Да пройду я веселым шагом,
Ненавистный лжецам и скрягам,
Славя яблоко над землей,
Тонкой красной материи флагом
Защищенный, как толстой стеной.

1937



**Елена
ШИРМАН**
1908—1942

ПОЭЗИЯ

Пусть я стою, как прачка
над лоханью,
В пару, в поту до первых петухов.
Я слышу близкое и страстное
дыханье
Еще не напечатанных стихов.

Поэзия — везде. Она торчит углами
В цехах, в блокнотах, на клочках
газет —
Немеркнувшее сдержанное пламя,
Готовое рвануться и зажечь,

Как молния, разящая до грома.
Я верю силе трудовой руки,
Что запретит декретом Совнаркома
Писать о Родине бездарные стихи.
1940



**Евгений
НЕЖИНЦЕВ**
1904—1942

ПУСТЬ БУДУ Я УБИТ
В ПРОКЛЯТЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ...

Пусть буду я убит в проклятый день
войны,
Пусть первым замолчу
в свинцовом разговоре,
Пусть... Лишь бы никогда
не заглянуло горе
В твой дом, в твои глаза,
в твои девичьи сны...
Пусть не осмелится жестокая рука
Черкнуть в письме,
в скупой на чувства фразе,
Что ты в разорванном
лежишь противогазе
И бьется локон твой
у синего виска...



**Павел
КОГАН**
1918—1942

ГРОЗА

Косым,
стремительным углом
И ветром, режущим глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза.
И, громом возвестив весну,

Она звенела по траве,
С размаху вышибая дверь
В стремительность и крутизну.
И вниз. К обрыву. Под уклон.
К воде. К беседке из надежд,
Где столько вымокло одежд,
Надежд и песен утекло.
Далеко,

может быть, в края,
Где девушка живет моя.
Но, сосен мирные ряды
Высокой оилой раскачав,
Вдруг задохнулась

и в кусты
Упала выводком галчат.
И люди вышли из квартир,
Устало высохла трава.
И снова тишь.
И снова мир,
Как равнодушие, как овал.
Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!

1936



**Леонид
ВИЛКОМИР**
1912—1942

БЕССМЕРТИЕ

Мы ели хлеб и пили воду.
Не до веселья было нам.
Мы покоряли непогоду,
Считая годы по зубам.

Я сохраню былую ярость,
Войдя к потомкам поутру.
У них, как памятник, состарюсь,
Как память, сдам, но не умру.



**Всеволод
БАГРИЦКИЙ**
1922—1942

Мне противно жить не раздеваясь,
На гнилой соломе спать.
И, замерзшим нищим подавая,
Надоевший голод забывать.

Коченея, прятаться от ветра,
Вспоминать погибших имена,
Из дому не получать ответа,
Барахло на черный хлеб менять.

Дважды в день считать себя
умершим,
Путать планы, числа и пути,
Ликовать, что жил на свете меньше
Двадцати.

1941

АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОРБАТОВ.
БЕРЛИН
1945 ГОДА.



ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ

ВЕЧЕР У ГЕНЕРАЛА ГОРБАТОВА

Владимир ЛАКШИН

Когда в компании с Твардовским и еще двумя-тремя новомирцами мы впервые оказались в доме у Никитских ворот, почти напротив Большого Вознесения, и, выйдя из лифта, остановились на лестничной площадке у порога квартиры генерала Горбатова, среди приглашенных, вытиравших ноги о половик, возникло замешательство. Дверь была приоткрыта, и сквозь нее виден пустой длинный коридор. Кто-то нажал кнопку звонка, чтобы известить все же о нашем приходе. Из синей тьмы коридора появился хозяин.

— Что же не входите? Прощу!

— У вас дверь забыли закрыть, — заметил Твардовский.

— Да нет, я держу ее незапертой. Спать ложимся — закрываем.

Мы переглянулись — экое чудачество. Как раз в ту пору москвичей будоражили слухи о квартирных кражах, дерзких грабежах. Рассказывали, что до нитки обобрали квартиру знаменитого скрипача, находившегося на гастролях, а у другого — то ли дипломата, то ли академика — мебель, по слухам, спустили на веревках через окна. Наиболее предусмотрительные хозяева врезали по два-три замка с секретом и щеколдой, а тут двери настежь, и не то чтобы нечего было взять...

В гостиной и просторной столовой, где мы оказались, стояли красивые шкафы с хрусталем и посудой, висели

по стенам картины в рамах, стояли плюшевые по моде 40-х годов кресла и возвышался на трофейном приемнике бронзовый бюст Суворова. Ничего особенно примечательного, но просторно, удобно — подобные интерьеры встречались и в других генеральских квартирах после войны... Но почему не запиралась дверь?

Вопрос так и остался висеть в воздухе, а гостей уже просили пройти к столу, и нас захлестнула теплая волна радушного гостеприимства хозяина и его жены, красивой, видной, ему под стать Нины Александровны.

С генералом Горбатовым все мы, не исключая Твардовского, познакомились впервые пятью-шестью месяцами прежде. Он появился в редакции несколько необычным для военного его ранга образом. Бывало, появлению самого предшествовала вереница адъютантов, порученцев, вестовых, передававших красиво оформленную рукопись. А случалось, знаменитый чинами и заслугами автор так и не переступал порога редакции: подтянутые лейтенанты или аккуратные майоры, отдавая честь, заезжали за версткой, спустя день-два привозили ее назад, а по выходе номера являлись за авторскими экземплярами. Вот и все общение с автором.

Отделом прозы в «Новом мире» в ту пору заведовал Евгений Николаевич Герасимов, сделавший на своем веку не одну генеральскую «литературную за-

пись». Он любил вспоминать, как летал во время войны за линию фронта в партизанский лагерь «авторизовать» записанную им «со слуха», отчасти по документам, но больше по воображению книгу мемуаров прославленного партизанского командира. Дня два его не допускали в блиндаж, наконец разрешили зайти. Его герой и одновременно автор сидел на перевернутом снарядном ящике за дощатым столом, разглядывал штабные карты и выслушивал донесения, отдавал короткие приказания и разносил кого-то, не обращая даже малого внимания на переминавшегося с ноги на ногу писателя с толстенной рукописью в руках. Наконец сдвинул со лба папаху, посмотрел красными, усталыми глазами, спросил коротко: «Тебе чего?» Герасимов, робея, просил познакомиться с написанным и визировать текст. Покосившись на объемистую папку, партизанский командир не выразил никакого желания читать написанное. «Ну, хоть пролистайте!» — взмолился Герасимов. — И черкните два слова для издательства, что читали, мол». Командир взял ученическую ручку, умакнул в баночку с чернилами, задумался на мгновение и на первой странице рукописи написал размашисто: «ЧЕТАЛ». И скрепил своей росписью.

Твардовский любил вспоминать этот жизненный анекдот и, упрасывая кого-либо из занятых начальников дать свой отзыв, говорил обыкновенно:

«Длинного рассуждения не надо. Напишите только в уголке: «Четал»».

С генералом армии Горбатовым все было иначе. Созвонившись с Твардовским, он появился в редакции в разгар рабочего дня. Было это в конце 1963 года еще в старом помещении «Нового мира» на углу Пушкинской площади и улицы Чехова, где у главного редактора, по сути, не было отдельного кабинета. В одной огромной и большую часть года полутемной комнате — зале старого особняка — сидели Твардовский, его заместитель Кондратович и я. У Твардовского был солидный, старинный двухтумбовый стол, стоявший боком к окну; Кондратович сидел за столиком поменьше, приставленным к этому столу короткой частью буквы «Г». У меня же своего места не было, и с кучей рукописей я располагался на краешке длинного полированного стола, предназначенного для заседаний редколлегии и шедшего вдоль стены, противоположной входу. Если у Твардовского предполагался доверительный разговор с автором, он уединялся с ним в соседней каморке ответственного секретаря. Обычно же все встречи, беседы Твардовский вел в нашем присутствии, вовлекая нередко в разговор и нас.

Мне запомнилось, как в нашу сумеречную залу вошел высокий, краснолицый с мороза генерал в долгополой светлой шинели и с крупными звездами на погонах. Сняв папаху, он обменялся

со всеми крепким рукопожатием, чуть исподлобья, но неуклончиво глядя в глаза. Пока он разговаривал с Твардовским, сидя боком у его стола, свет падал на его лицо, и я с любопытством взглядывал на не частого у нас посетителя: пожилой человек, но стариком не назовешь — крепкий, спина прямая, кавалерийская посадка, обветренное лицо. Временами он проводил рукой по редким волосам, как бы без нужды пригладывая их. Мне показалось, что в профиль он похож на маршала Жукова: та же скульптурная лепка волевого лица, пристальные глаза. Только то, что в лице Жукова выражено с некоторым нажимом — сильные надбровные дуги, выдающийся тупым углом подбородок, — в лице Горбатова, пожалуй, смягчено: было в нем что-то и от русской деревенской округлости.

В тот день они говорили с Твардовским недолго, Александр Трифонович захватил рукопись домой, а приехав дня через два в редакцию, с порога начал восхвалять: «Вот так генерал! Сразу видно, ему не адъютанты пишут! Да он мне и говорил, что всю рукопись от первой до последней страницы сам пробороzdил, и пишет простым карандашом!» (Почему-то именно этот карандаш, как порука подлинности и своеоручности записок, особенно подкупал Твардовского.) «И еще скажу: это написано нравственным человеком. А какая судьба!»

Судьба Александра Васильевича Горбатова и в самом деле была неординарна: его не обошла ни одна беда, ни одно напряжение народных сил за полвека. Родившийся в конце прошлого столетия в крестьянской семье Горбатов был смелым гусаром-конником в первую мировую войну, красным командиром в гражданскую, комбригом перед Отечественной. В 1938 году он вступился за безвинно арестованного товарища и сам оказался в тюрьме. На первых же допросах заявил, что лучше умрет, чем оклеветает себя или тем более других. Описал он это в своей книге с той строгой сдержанностью, которая сильнее любого яростного крика.

«В четвертый раз меня вызвал кто-то из начальников. Сначала он спокойно спросил: представляю ли я, к чему себя готовлю, хорошо ли все продумал и оценил? Потом этот начальник сказал следователю: «Да, я с вами согласен!» — и вышел из комнаты.

На этот раз я долго не возвращался с допроса.

Когда я с трудом добрался до своей камеры, мои товарищи в один голос сказали:

— Вот! А это только начало...

Кроме следователя, в допросах принимали участие два дюжих палача. И сейчас в моих ушах, когда меня, обессиленного и окровавленного, уносили, звучит злое шипящее слово Столбунского: «Подпишешь, подпишешь».

Горбатов не подписывал. И благодаря исключительному стечению обстоятельств, собственному упрямому мужеству и самоотверженности жены, хлопотавшей за него всюду, где можно и где нельзя — в НКВД, Верховном суде, военной прокуратуре, Наркомате обороны, Горбатов был освобожден из колымских лагерей в самый канун войны. Он принял участие в первых же боях с немцами и в конце 1941-го получил генеральское звание. А потом воевал под Сталинградом, в 1943 году, уже командующим армией, освобождал Белоруссию. Закончил войну на Эльбе и в Берлине — он был одним из первых советских комендантов немецкой столицы.

Все только что сказанное достаточно, я думаю, поясняет отношение Твардовского к Горбатову. Надо сказать, что среди авторов, привлекаемых «Новым миром», Твардовский с подчеркнутым вниманием относился к тем людям, что не принадлежали к собственно писательской среде, не кружили вокруг Дома литераторов, а были как бы сами по себе — имели за плечами профессию, ремесло или самобытный опыт, сообщавший им в глазах Александра Трифоновича силу независимости и подлинности. Рабочий-монтажник Терентьев, дипломат Майский, сибирский старик крестьянин Бартов, инженер-изыскатель Побожий — всех их журнал печатал. А сколько было еще

30-х годов — разгон Комакадемии, где он был научным сотрудником, в конце 30-х — разгон журнала «Литературный критик», в редакцию которого он входил. Наконец, два разгона «Нового мира» — первый 1954 года и второй 1970 года. В промежутках — красноармейцем на гражданской войне, командиром взвода ближней войсковой разведки на Отечественной — Сац воевал.

Думаю, Горбатову повезло, что Твардовский просил Саца взять его под свою редакторскую опеку: они работали в добром согласии. Сац поразил Горбатова тем, что, пригласив генерала к себе домой, разыскал у себя старые оперативные карты-трехверстки и сверял по ним какие-то подробности боевой дислокации. Я сам слышал, как Горбатов говорил потом, что по военным познаниям дает Сацу чин генерал-лейтенанта. Но литературным редактором Сац был довольно жестким, и он уговорил Горбатова перестроить повествование. Рукопись, принесенная автором, была начата с воспоминаний о Колыме, о лагерной поре, а потом он переносился памятью в свое прошлое, в детство. Сац посоветовал хронологически выпрямить повествование, начать сразу с семьи, с детства... Твардовский обнаружил перемену лишь в корректуре и не одобрил Саца — редчайший случай, когда он оспорил его как редактора, но, видно, сильно дорожка была ему эта рукопись.

— Мне плакать хочется, — говорил Александр Трифонович с версткой в руках. — Какая вещь испорчена! Зачем он выправил по хронологии? Ведь Горбатов инстинктивно сделал художественно — сначала взял круто, с самого трагического момента: арест, тюрьма, а потом на покосе за лагерем, где есть время подумать, припомнил детство юность, как уходил на мировую войну...

Пришедший на этот разговор Сац резко отстаивал свою правоту, Твардовский, по обыкновению не щадя и обязательств дружбы, со всей жесткостью и не выбирая выражений укорял его в промахе... Ссора казалась неизбежной, споры продолжались и за стенами редакции — до позднего вечера и уже не в кабинетной обстановке. Но на другой же день, как обычно, мир был восстановлен, остался у Твардовского лишь слабый след досады.

Окончательное название мемуаров Горбатова принадлежало Твардовскому. У автора тоже было неплохо: «Жизнь солдата». Но Твардовскому показалось, что для генерала армии в таком самоопределении, в общем-то справедливом, есть легкая тень авторского кокетства. Помню, как все мы, собравшись в редакции вокруг Александра Трифоновича, крутили и перекручивали немногие слова, пытаясь точнее окрестить книгу и легко впадая в пушную банальность: «Война и служба», «Служба и...», «Дружба», что ли? — сердито перебивал нас Твардовский. И вдруг как выстрелил: «Годы и войны». «Так и назовем. Отвечает содержанию, и можно поручиться, что ни у кого прежде не было». Горбатов без раздумья согласился.

Немало волнений пришлось пережить автору уже при подписании в печать: кроме общей цензуры, его мемуары подлежали ведению цензуры военной. А там в ту пору как раз была образована целая коллегия по мемуарам — воспоминателей развелось среди военных людей немало. Полковники и подполковники, цензуровавшие эти мемуары, жили под гипнозом печатного слова и нерушимо верили в прецедент: если в новом тексте случалось расхождение в трактовке событий или лиц с прежде вышедшими мемуарами военачальников, полагалось усомниться в новом свидетельстве, выбросить или выправить в согласии с тем, что издано прежде, а стало быть, получило одобрение. Тот, кто «вспомнил» нечто первым, получал, таким образом, преимущество, как обладатель исходной истины. Оппозиция оставалась идти вослед или украшать уже сложившуюся картину незначительными личными подробностями. Горбатов же по-своему видел войну, наши поражения и удачи, по-своему судил о действиях многих военачальников — и оттого не имел шанса легко получить на верстке одобряющий штамп.

Более всего, разумеется, смущали в его воспоминаниях картины отступления 1941 года, критика грубости и глупых приказов командующего армией М., лагерная эпопея автора. Особенно огорчался Горбатов, что были сняты сказанные им в сердцах, но справедливые слова о своем командующем, воз-



ПОЛЬША,
1944.



АВГУСТ
1914 ГОДА.

не напечатанных по разным причинам, но отмененных вниманием Твардовского рукописей «нелитературных людей!» Среди них, конечно, и военных — адмирала Исакова, начальника фронтового тыла Антипенко и других. Для подготовки и правки таких рукописей незаменимым человеком в редакции считался Игорь Александрович Сац.

Мне уже приходилось писать о нем. Ближайший личный друг Твардовского, один из немногих, с кем тот был на «ты», Сац сам был человеком редкостным и, если бы не его собственное отвращение ко всякой литературной мифологии, я бы сказал, легендарным. Незадолго до своей смерти, держа речь на домашнем юбилее, Сац шутил, что историю своей жизни, как историю старой Польши по «разделам» («Первый раздел Польши», «Второй раздел Польши...»), он мог бы мерить по «разгонам». В 1918 году — попытка разгона за анархизм Богунского полка Щорса, под командой которого он воевал совсем юнком. В 1929 году — разгон Наркомпроса (Сац был литературным секретарем наркома Луначарского); в начале



А. В. ГОРБАТОВ
С ЖЕНОЙ НИНОЙ
АЛЕКСАНДРОВНОЙ,
1945 ГОД.

мешавшем военную некомпетентность грубой бранью: «Это не командарм, это бесструнная балалайка». Защищая эту фразу, Александр Васильевич наивно настаивал, что слова свои помнит точно. Как же можно их вычеркнуть? Он упрямо сжимал губы, глядел в упор своими строгими глазами и обиженно повторял: «Как же так? Ведь это так и было. Я ему в лицо сказал...» Требование указать, где он взял те или иные факты, подробностей боевых действий, возмущало его: «Где-где... Да я был там, я это видел». Полагалось же сослаться либо на документ, либо на предшествующие мемуары, выпущенные в Воениздат. «У вас что напечатано, то свято», — удивлялся генерал. «А если ваш вспоминающий прилгал? А я лгать не умею, я, простите, правду говорю».

Но аргументы такого рода вызвалинисходительную усмешку, а споры заканчивались известно чем — по рассказке, любимой Твардовским: «Я его ермолкой, он меня палкой. Я его опять ермолкой, а он меня опять палкой...» Наконец, все же последняя из трех голубых книжек «Нового мира», заключавших в себе «Годы и войны», вышла в свет. Вот тогда мы и отправились к Александру Васильевичу небольшой компанией домой отметить это событие.

Кроме нас, приглашенных в тот вечер, кажется, не было. Не помню только, в этот или в другой раз присутствовал за столом Дмитрий Трофимович Шепилов, как оказалось, член военного совета той самой армии, в которой служил Горбатов. Александр Васильевич ценил его ум и мужество. Имя Шепилова долгое время не употреблявшееся без липучего и несколько комического определения «и примкнувший к ним», в 60-е годы не упоминалось вовсе. В один день и час 1957 года развенчанный из секретарей ЦК и министров иностранных дел и ставший скромным сотрудником архивного управления, он был из тех низверженных с высот власти людей, которые в самом деле как бы прекращали существовать, сдаваемые в архив политической современности. Мы с любопытством поглядывали на него: он держался с достоинством, был немногословен, не сказал, что любимый его журнал, читаемый им от корки до корки, «Новый мир», признание, не скрою, прибавившее тепла нашему общению. Упомянуто обо всем этом потому, что тут тоже черточка Горбатова: в отношении к опальному Шепилову у него сквозила подчеркнутая уважительность — не стал бы он изменять товариществу ни при каких обстоятельствах.

Когда сели за стол, богатый салатами, грибами и иными закусками, невольно вспомнилось одно место из книги Горбатова. Деревенским мальчишкой 16 лет, с отвращением наблюдая пьяные драки, он дал зарок — не пить, не курить и не сквернословить. Это было в 1907 году, и, побывав на трех войнах и в колымском лагере, он зарок того не нарушил, хотя, казалось бы, соблазны окружали его со всех сторон.

Для Твардовского, человека иного опыта, все это казалось каким-то экзотическим чудом, сверхъестественным проявлением воли: он и дивился Горбатову, и восхищался им. «Ну, так-таки ни одной рюмки за всю жизнь?» — допытывался он.

— Ни одной. Ну, если не считать (и хозяин смущенно покряхтел) той, что в Берлине 9 Мая 45-го года офицеры заставили выпить... Один раз, выходит, нарушил зарок.

В этот момент мы сдвинули стопки, ибо, надо признаться, зарок хозяина не сказывался на гостеприимном ассортименте стола — каждый находил на нем то, что хотел. Лишенный всякого ханжества Горбатов чокался с нами серебряной рюмкой, куда исправно подливал из хрустального графина домашнюю вишневую воду «без градусов», как он выразился, и разница в наших напитках никак не сказывалась на

оживленности беседы. Скажу более, по мере того как длилось застолье, Александр Васильевич становился словоохотливее, доверительнее: он будто хмелел вровень и заодно с гостями.

Попытаюсь восстановить кое-что из разговоров этого вечера.

Чтобы сделать Твардовскому приятное, Горбатов заговорил о «Теркине» и его меньшом брате — поэме «Теркин на том свете»: эту сатиру, как и эпос про бойца, он высоко ставил. Твардовский, не любивший величаться, обладал умением перевести на шутку лестный и оттого смущавший его разговор. Он тут же рассказал о генерале, командовавшем одним из военных округов, который, залучив поэта к себе на дачу, просил читать за ужином стихи. Твардовский не чинясь прочел недавно написанное им стихотворение. «Теркин» выше! — безапелляционно объявил генерал. Автора это задело, и он прочел другое новое свое стихотворение, которое, по его расчету, должно было уж непременно генералу понравиться... Тщетно. Что бы ни читал, как бы ни старался произвести он впечатление в тот вечер, генерал твердил одно: «Теркин» выше!»

— Теркин выше! — рассмеявшись, повторил и Горбатов.

Любивший соблюдать ритуал застолья и, надо сказать, мастерски это делавший, Твардовский поднял тост за начинающего автора, решившегося отдать свой труд в журнал, который хотя и подвергается критической бомбежке, но обладает глубоко эшелонированной обороной и не намерен сдаваться. Все мы немного мнительны в нелегких обстоятельствах, и Твардовскому могло казаться, что при всем своем здравомыслии и порядочности Горбатов, человек военный и дисциплинированный, вправе был поежиться, наблюдая, как бранят «Новый мир» в печати, как кричат на него официальные лица: не затаскивают ли, мол, генерала армии в дурную компанию, и он попытался обясниться:

— Вам, конечно, Александр Васильевич, не до наших литературных свар. Но тут, я вам скажу, дело простое: нас укоряют, что мы темные углы, теневые стороны жизни освещаем. Но за чем, скажите, пожалуйста, **освещать свет?** Да по одной лишь солнечной стороне улицы гулять, на тенькую не заглядывая, пожалуй, голову напечет. С реализмом воюют посредством высокопарности — всякие там пламенные сердца да крылья. Мы уж заметили, когда плохо написано, чтобы оправдать ходульность, говорят: «Ну, это, знаете, романтизм-изм...» — И Твардовский протянул это словечко, издевательски приосюсюкнув.

Все рассмеялись.

Я не раз замечал, что в присутствии Твардовского, если вокруг были люди, вызывавшие у него доверие, легкая приятельская беседа неизбежно сворачивала на серьезные сюжеты. Он задавал вопросы, от которых нельзя было отшутиться застольным юмором, и изучающе смотрел на собеседника своими блекло-голубыми глазами.

Почувств это, и Горбатов разговорился, стал вспоминать войну. В его рассказах о фронте было два пункта, две болевые точки, к которым концентрическими кругами сходились все его думы и воспоминания. Первой болевой темой были причины наших поражений в начальный период войны.

«Что вы хотите, если Сталин своими репрессиями парализовал все руководство армией. Я помню, перед войной Якир выдвинул идею создания оборонительного рубежа в западной части Украины. Это должна была быть наша линия Мажино или Маннергейма, но более неприступная. Там уже и земляные работы начали, а после гибели Якира все это сровняли и велели забыть как вредительство... Но главное — кадры. Армия была обезглавлена, самые способные, самые умные и обладавшие оперативной подготовкой военные были уничтожены. Их ме-

сто заняли быстро выдвинувшиеся люди, быть может, и неплохие, но часто без малейшего представления о военной науке. В начале войны вчерашние комэски, командиры эскадронов, взводные и батареинные командиры стали командовать полками и дивизиями. А командиры полков возглавили армии и фронты. Но мышление оперативное совсем не то, что полевое. В бою отважные могли быть люди, в атаку ходить умели, но не знали азов военной науки... И гибли сами, и солдат вели на гибель».

— Если бы не разгром военных кадров, мы немца не то что до Волги, до Днепра бы не допустили! — с каким-то скорбным энтузиазмом воскликнул генерал.

— А я еще и о другом думаю, — неожиданно обернул разговор Твардовский. — В сорок втором году мы оказались прижаты к Волге потому, что всего за десять лет перед войной множество семей так называемых кулаков, в действительности же среднее работающее крестьянство, были сорваны со своих мест, высланы, рассеяны по лицу земли. А ведь именно эти люди могли быть лучшими солдатами в войне. Я это хорошо знаю. Настоящее кулачество разбегалось из деревни само в 1929 году, едва начали его тряссти, пошло в города, дети их учились и пополняли слой служилых людей, которые нас же представляли уму-разуму, руководили и направляли. Я не одну такую семью знал...

Смотрел я на них в те минуты и думал: сидят друг против друга два русских правдолюбивых человека, два крестьянских сына — и один подтверждает другого, понимая его с полуслова, своим опытом и судьбой... Твардовский вспоминал, что на протяжении двадцати пяти лет во всех документах был обозначен как сын кулака, а хозяйство-то у отца было самое скромное и земелька скудная, никудышная: одна слава, что «пан» Твардовский. Лишь лет пять тому, как вызвали Александра Трифоновича в ЦК и сняли это клеймо.

— В 1938 году, — продолжал Твардовский, — когда я получил орден Ленина после «Страны Муравии», решил по молодости, что все могу. Кинулся в прокуратуру заступаться за сидевших смоленских друзей — и осекся... Каково было Нине Александровне вас в ту пору из лагеря вытаскивать...

— Да, совсем немногие оттуда перед войной вышли — Рокоссовский, Мерецков, вот я...

И уже Горбатов захватывает внимание за столом. Он рассказывает, как в 1942 году под Сталинградом в тяжелую минуту его разыскал Г. М. Маленков, прилетевший на фронт как представитель Ставки. Он вызвал Горбатова к себе на КП и стал доверительно расспрашивать. Человек всесильный, он показался тогда Горбатову обмякшим, потеряннным. Маленков просил откровенно сказать, в чем видит Горбатов причину неудач и как, на его взгляд, можно переломить положение.

— Сказать по совести, я удивился. Так с нами раньше такие люди не разговаривали. Сказал: прежде всего надо вернуть из лагерей арестованных командиров и направить на фронт.

Маленков согласился и просил Горбатова назвать имена тех, кого он лично знал и за кого может поручиться. Горбатов просидел бессонную ночь у копилки, составляя этот список. Он понимал, конечно, что разыщут не всех, но боялся случайно забыть, пропустить хоть кого-либо из тех комкоров и комдивов, кого встречал на этапе и в лагере. У него было чувство, что им решается в ту ночь судьба многих людей. Маленков с благодарностью принял список, заверил, что эти люди будут на свободе, и улетел в Москву. Ни одного из названных им командиров Горбатов потом на фронте не встречал: по-видимому, еще прежде запроса из Москвы (если таковой и последовал) все они были расстреляны.

Чем больше я слушал рассказы Горбатова, тем яснее чувствовал, как сильна в нем совесть — считавшееся когда-то природным для русского человека, но изрядно порасстроченное качество души. Он не принадлежал к числу славянолюбцев, которые привыкли на людях кичиться одними победами, упиваться пением фанфар и ликовать. Ему больше помнились тяготы, потери, собственные и других командиров промахи, моменты высшей опасности на войне. И если он чем гордился, то тем, что упрямо преодолевал их.

Вспоминая о сталинградской эпопее, Горбатов замечал, что отчаянное, беспощадное сопротивление врагу началось, в сущности, на последней улице, шедшей вдоль Волги. Тоненькая ниточка отделяла врага от реки, но нить эта оказалась стальной. Тут и жестокая воля Сталина, что говорить, сыграла свою роль: он велел передать командующим армиями Чуйкову и Еременко, что головы их полетят, если сдадут город. Все поняли: это не пустая угроза. Но как досадно, что важнейшую высоту обороны — Малахов курган сдавали почти без боя, чтобы потом долгими неделями отбивать его. И сколько людей положили! Сколько солдат!

Второй темой, к которой Горбатов не престанно возвращался, была боль от зрящих, ненужных потерь — следствие неумения воевать или, что хуже, высокомерного штабного отношения к солдатской массе, арифметического пренебрежения к чужим жизням. Горбатова не отпускало и жгло чувство неопределенной вины перед павшими, так полно и точно выраженное Твардовским:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли
с войны.

В том, что они — кто старше,
кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел

сберечь, —
Речь не о том,
но все же, все же, все же...

— У нас часто говорят: штурм Берлина, штурм Берлина, — рассуждал Горбатов. — Я держусь того мнения, что с военной точки зрения Берлин не надо было штурмовать. Конечно, были и политические соображения, соперничество с союзниками, да и торопились салютовать. Но город достаточно было взять в кольцо, и он сам сдался бы через неделю-другую. Германия капитулировала бы неизбежно. А на штурме, в самый канун победы в уличных боях мы положили не меньше ста тысяч солдат. А ведь они уже радовались, что вот-вот домой... Глаза генерала увлажнились. — И ведь какие люди были — золотые, столько всего прошли, и уж каждый думал: «завтра жену, детей увижу...»

Слушая его, я опять вспоминал строчки Твардовского:

Города сдают солдаты,
Генералы их берут.

А Горбатов еще подкреплял свою мысль следующим соображением: надо было уметь не просто уничтожить противника, а, насколько это возможно, взять его в плен. Это означало, что и с нашей стороны потерь было бы меньше. Умение воевать не в том, чтобы больше убить, а в том, чтобы с наименьшими жертвами выиграть войну. «Моя армия за время войны, — горделиво замечал Александр Васильевич, — взяла в плен 106 тысяч немцев. А соседние армии — не больше 50 тысяч. И у меня, понятно, убитых меньше. Вот и рассудите, сколько же ненужных потерь мы несли, оттого что некоторые генералы не умели воевать».

— А как Иосиф Виссарионович, вас жаловал ли? — спросил Твардовский.

— Не могу сказать, чтобы плохо относился, хотя очень активно и не продвигал, на армии придерживал. Меня некоторые неуживчивым считали, строптивым. Не знаю, какие уж к нему донесения шли. С «балалайкой бес-



А. Н. ВОЛКОВ. ЧАЙХАНЫ СТАРОГО ГОРОДА. 1926.

Начало см.
на стр. 8.

они успели сделать, — талантливо, это цепь, преемственность культуры — школа А. Волкова.

В бригаду Волкова, как журналист-критик, входил работавший тогда в газете «Правда Востока» И. Л. Устименко, его псевдоним — Ирась. В семейном архиве хранится много статей, посвященных работе бригады Волкова, за этой подписью. Он заведовал отделом искусства в газете, собиравшись стать искусствоведом, уже учился, но в 1938 году был арестован. Ему предъявили обвинение — участие в троцкистско-буха-

ринском, националистическом блоке с целью убийства великого вождя. Ни много ни мало! И он 18 лет пробыл в лагерях. К счастью, он вернулся. И тогда я узнал, что к его «делу» было подшито и письмо-донос, обвиняющее его еще в одном преступлении — восхвалении вредной для советского искусства бригады Волкова.

Разбирая бумаги отца, я буквально на днях нашел заметки, написанные неразборчиво, отрывочно, нервно. Это, видимо, был черновик не отправленного письма, где А. Н. Волков просил секретаря ЦК Узбекистана Акмаля Икрамова защитить его от обвинений в антисоветчине. Волков критики не боялся, никогда не ка-

ялся, но когда бригаду Волкова провокаторы назвали «фашистами в искусстве», он надеялся на защиту. Но в это время Акмаль Икрамов был объявлен «врагом народа»!

«КУЛЬТУРА — ЭТО НЕ ПИРОГ...»

«Культура — это не пирог, который можно разрезать на части» — я прочитал эти слова Ильи Эренбурга в газете в самый разгар борьбы с космополитизмом. А в это время Александр Герасимов, председатель оргкомитета Союза художников, рассылал тексты на папиросной бумаге (своего рода «самиздат») в связи с постановлением ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» от

14 августа 1946 года. А. Герасимов говорил тогда о МОСХе: «Мы поддались влиянию так называемого «общественно-художественного мнения».

О Н. Н. Пунине ставился вопрос ребром — «убрать его из педагогов». Выдающегося искусствоведа, автора «Курса истории искусств», читаемого в Ленинградской академии художеств, Н. Н. Пунина убрали не только из состава педагогов, но из жизни вообще...

Вскоре президент Академии художеств СССР Александр Герасимов приехал «наводить порядки» в Ташкент, я помню его слова: «Вот мы с Волковым приблизительно одного возраста, так вот, все-таки можно же



А. Н. ВОЛКОВ.
ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА
Е. С. ВОЛКОВОЙ-МЕЛЬНИКОВОЙ.
1936.

было хоть одну картинку за свою жизнь написать». Он кривлялся и ерничал, представляя из себя этого «мужика-барина».

А народный художник Узбекистана — так оценило роль А. Н. Волкова в искусстве еще существовавшее тогда «общественно-художественное мнение» — стоял, как всегда, в черном костюме, прислонившись к стене. Годы не изменили военной выправки, которую он получил еще в кадетском корпусе. На его груди была медаль «За трудовую доблесть». Он с гордостью носил ее и говорил, что это как военная награда «За отвагу» или солдатский георгиевский крест.

ВОСПОМИНАНИЯ

«Рано утром караван, проходящий через Ташкент к широкому простору предгорий, увез меня. Чирчик. Паркентский брод. Янги Базар. Рисовые поля. Горы. Ночь. Песни киргизок, в которых звучит пламенная любовь к степям и кочевью...»

«Я видел много, но далеко не все. Да и не нужно всей земли, достаточно клочка», — записывает старый художник, сидя на маленькой терраске, когда-то сбитой из досок собственными руками. «Мой корабль — ботик», — посмеиваясь, добавляет он. «Ты слышишь, как шумит тополь?» — говорит он мне.

А потом, соскребая шпателем краску с палитры, он делает заготовки на кусках картона и фанеры. Это тоже вереница воспоминаний. Образы природы. Они рождаются не сразу. Само смешение красок — для художника радость. «Ренуар до последнего дня смешивал краски на палитре, когда не было сил уже писать», — с грустью и надеждой говорил отец. Со временем из этих заготовок сложился последний цикл пейзажей. Они освещались то луной, то солнцем, а то просто становились портретами луны и солнца.

Сгустки красок превращались в драгоценный сплав, ту высшую форму живописи, когда любой, самый простой мотив становится частицей мира и выражает его единство.

«Не нужно всей земли, достаточно клочка...»

КИЕВ И ВРУБЕЛЬ

Следуя завету отца, я приехал в Киев, чтобы увидеть то, что Волков любил особенно глубоко: «Сошествие святого Духа» — фреску М. Врубеля в Кирилловской церкви. Я вспомнил, как он рассказывал, что часами лежал на полу, не отрывая взгляда от великого произведения.

...Однажды к нему подошел сторож этой церкви: «Я вижу вас здесь каждый день, — вот, возьмите, этой краской писал Врубель». У меня и сейчас еще хранится бумажный пакетик, на котором написано: «Зеленая краска, которой Врубель писал «Сошествие святого Духа».

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Он писал его долго — с 1944-го по 1947-й. Мы с братом Александром все время «вырастали» из портрета, и как-то отец сказал: «Останетесь такими — больше переписывать не буду». Мы все-таки выросли. Сегодня наши картины и скульптуры — рядом с работами учителя.

«Творчество Волковых — вдохновляющий пример династии, свободной от деспотизма кровного родства. Никто не повторяет друг друга, каждый выбирает свой творческий путь. Но весь триумвират окрылен Волковым-старшим».

Так написал недавно И. Ирась. Да, Игорь Леонидович Устименко. Из старой бригады Волкова он остался один.

струнной» я рассорился. И с особым отделом не в большой дружбе был. Однажды, признаться, приколотил в сердцах палкой нашего особиста: он велел крестьянскую избу на бревна раскатать, под блиндаж для своего отдела... И другой случай был...

Горбатов рассказал, что уже когда воевали на земле Польши и Восточной Пруссии, к нему на КП явился посланец из разоренного войной Донбасса, просивший крепежного леса для восстановления шахт: узнал откуда-то, что армия Горбатова захватила немецкие склады с тесом. Горбатов пожалел шахтеров с безлесной Украины и приказал загрузить трофейным тесом порожняк, отправлявшийся на Восток. Это сочли грубым самовольством, был пущен слухок, что тес отгружен для генеральских дач. Доложили Сталину, он велел создать комиссию и, когда выяснились истинные обстоятельства дела, произнес, ухмыльнувшись, свою опасную шутку, которая потом, через годы, льстила самолюбию Александра Васильевича: «Горбатова могила исправит!»

Генерал разговорился, щеки его покраснели, он стал чертить столовым ножом на скатерти план какой-то боевой операции, пока Нина Александровна, появившись за его стулом, молча не вынула из его руки нож, сочтя это, видно, нарушением этикета:

А Твардовский примолк, обхватил руками голову и глядел влюбленными глазами на генерала. Разошлись в тот вечер поздно.

Эта встреча запомнилась накрепко, хотя много раз мы виделись с Горбатовым и позже. Помню его в парадном мундире и с полной грудью орденов в президиуме собрания в Доме журналиста, посвященного 40-летию «Нового мира». Помню на спектакле «Теркин на том свете» в Театре сатиры, где он, растрогавшись, обнял Твардовского в проходе партера — вечер того дня мы провели в доме у Никитских ворот.

Не раз заходили мы потом и вдвоем с Сацем в эту квартиру с вечно открытой наружной дверью. Как-то, вспоминается, пришли и застали Горбатова с Ниной Александровной в сумерках: они сидели рядом на диване, не зажигая огня, о чем-то тихо разговаривали и очень обрадовались нашему неожиданному появлению. Шестидесятые годы шли к концу, некоторые темы вновь стали запретными, книгу «Годы и войны», изданную лишь единожды, стали изымать из армейских библиотек.

Когда сели ужинать, Горбатов, как когда-то, стал говорить о бедах 41-го года, о напрасных потерях. Возвращался по-стариковски дважды и трижды к уже слышанным нами рассказам. Но я заметил, что, повторяя одно и то же, он — противу обыкновения большинства рассказчиков — ни слова не прибавляет и не убавляет по дороге, точно держится канвы уже известных нам фактов: его щепетильная правдивость подкупала. И снова: «Подумать только — взводные командиры полками командовали, дивизиями в лучшем случае — ротные...» И снова: «Каких ребят положили в последних уличных боях. Окружить бы — немец сам сдался...»

Рассказал, впрочем, и нечто новое. Неожиданно назвался следователем Столбунский, названный в его книге, — кто-то из читателей сообщил: жив, здоров, живет в проезде Серова. Горбатов потребовал, чтобы человек, вымогавший у него побойные ложные признания, был наказан. Конечно, к уголовной ответственности его не привлекли, даже пенсии не лишили. Но, человек не мстительный, Горбатов побывал все же на собрании в жэке, где Столбунского исключали из партии. Тот, смертельно испуганный, повторял как заведенный: «Горбатова я пальцем не тронул, пальцем не тронул...» Лгал, конечно. Но защищался он, помнится, ссылкой на то, что Горбатов так и не подписал на себя вынужденного «признания» в предательстве Родины, а ведь кругом все подписывали...

Разумеется, дело было не в либеральности следователя, а в железном характере, исключительном мужестве и упорстве Александра Васильевича. Человек, давший в шестнадцать лет нравственный зарок и оставшийся верным ему всю жизнь, мог ли он уступить неправде под любыми пытками?

Мы, не ведавшие этих мук, не судьи страдальцам. Но в книге Горбатова отчетливо слышится гордость, что, несмотря на все испытания и нечеловеческие муки в период следствия, он не сломался, не оболгал себя — и вырвал у судьбы шанс вернуться. Была в рассуждении Горбатова даже легкая тень укора другим, более слабым душам, и это уж не вполне справедливо. Но, пожалуй, Горбатов в своих воспоминаниях первый открыл механизм слабости, каким пользовались палачи. В ту пору среди растерянных и несчастных людей, раздавленных совершенной с ними несправедливостью, родилась чудовищная иллюзия, что скорое признание в самых страшных злодеяниях и оговор возможно большего числа невинных заставят скорее лопнуть чудовищную ложь. Спасались мыслью, что это такая нелепость, в какую уже никто не поверит. Верили. (Вспоминается, замечу в скобках, как на одном совещании в конце 50-х годов ко мне подошел человек и представился: «Резидент негуса абиссинского». Я счел это нелепой шуткой. Оказалось — точная формула обвинения. Агенты «сигуранцы» и японские шпионы — это уже приелось, казалось пресным, и следователи развлекались экзотическими признаниями жертв.) Счастье Горбатова, обладавшего не только физическим здоровьем, но и исключительной моральной стойкостью, что он смог выдерживать эти муки и выйти на свободу.

Я с восхищением смотрел на этих двух людей — Горбатова и его жену. Чтобы человек, осужденный в конце 30-х к 15 годам лагеря, уцелел и еще до войны вышел, оправданный, на свободу, такие случаи сравнительно редки и до сих пор встречаются порой недоверчивым взглядом: что-то, мол, тут не так, либо генерал чего-то недоговаривает, либо его жена имела возможность нажать на какие-то особые пружины. И отчего-то саму ее не посадили, как многих, чтобы непавадно было хлопотать за арестованного мужа?

Все верно, и железная машина репрессий почти не знала сбоев. И все же уступала порой той стойкости, что была у Горбатова, той беззаветности, какой обладала Нина Александровна. Их урок в том, что нельзя пассивно цепенеть перед непреодолимой силой зла. Надо кричать, звать на помощь, биться во все запертые двери, стоять на своем, не уступать до последнего — даже когда сопротивление, по видимости, безнадежно...

Подбираю обретенную нить воспоминаний. Человек благодарный, Горбатов, встречаясь с кем-либо из нас, новомирцев, не забывал поблагодарить за любое доброе сотрудничество и с особой сердечностью говорил о Твардовском. «Я понял: это удача, что я пришел именно в ваш журнал. Твардовский — смелый человек». В такой скромной похвале из уст генерала, не сорившего словами, заключалось высшее одобрение.

А прощаясь со мной и Сацем в передней, он сказал, отвечая на заданный вопрос: «А и оставшийся без ответа вопрод: «А дверь открытой держ, так это потому, что после одиночки ненавижу, знаете ли, запертые двери».

Горбатов умер в 1973 году, на два года пережив Твардовского, и похоронен на Новодевичьем. Когда я иду в тот угол кладбища, где лежит Александр Трифонович, по дороге делаю крюк и подхожу к надгробию Горбатова. Поясной портрет его из гранита — кавалерийская выправка, грудь вперед, смотрит строго, неуступчиво, будто вот-вот произнесет упрямо: «Не то что до Волги — до Днепра бы не допустили...»

ХАМЕЛЕОН МЕНЯЕТ ОКРАСКУ

СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ,
ДОКУМЕНТЫ

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДЬЯКОВ. ОДИН ИЗ
СТАРЕЙШИХ СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ. БЫЛ НЕЗАКОННО
РЕПРЕССИРОВАН
В 1949 ГОДУ.
СТОТЫСЯЧНЫМ ТИРАЖОМ
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО
ГОДА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
ВЫШЕЛ ЕГО
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ
РОМАН «ПЕРЕЖИТОЕ»
В ТРЕХ КНИГАХ.

«КРИВИТЬ ДУШОЙ Я НЕ МОГУ»

В интервью еженедельнику «Ветеран» (иллюстрированное приложение к газете «Труд», издание Всесоюзной организации ветеранов войны и труда) Б. Дьяков отмечает: «...Когда я закончил трилогию и принес ее в издательство, меня там приняли настороженно... Доводы к сокращению рукописи большей частью были несостоятельные, перестраховочные. «Ну зачем, — говорили мне, — с такой тщательностью ворошить прошлое. Ведь многие отрицательные персонажи книги еще живы, а у тех, кто умер, есть родственники. Каково им будет читать такую обнаженную правду?»

Не очень приятно было встречено мое предложение сохранить несколько глав о лагерном периоде моей жизни. Я, правда, писал об этом в «Повести о пережитом». Но та книга, изданная в 1966 году, больше не переиздавалась.

Мне предъявили обвинение в том, что я в 30-е годы будто бы участвовал в правотроцкистском блоке Варейкиса *.

Далее Б. Дьяков подробно рассказывает об издевательствах и пытках, которым был подвергнут в заключение: «...посажен в подвальный кар-

цер... полураздетый, не двигаясь, стоял на полу, залитом жидким мазутом, а стены были опрысканы жидким аммиаком. Я задыхался. Меня не кормили, запрещали сидеть, спать.

...Находясь в лагере, я, в отличие от Солженицына, наряду с негодными встречал людей, не потерявших веру в силу ленинской правды, в конечное торжество социальной справедливости... Солженицын же все видел в черном свете» («Ветеран», 1988, № 9).

В заключение беседы Б. Дьяков выразил надежду, что его произведения будут переизданы, поскольку в Госкомиздат поступает много писем с этой просьбой.

ИЗ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Н. ШЕЛЕШНЕВА

Осенью 1967 года Н. Е. Шелешнев обратился в Прокуратуру СССР с просьбой реабилитировать его и в подтверждение своей невиновности представил книгу Б. Дьякова «Повесть о пережитом», в которой, в частности, рассказывается о заключенном Николае Шелешневе, мотористе-электрике, по кличке Капитоша (он играл на лагерной сцене Капитошу в пьесе Островского «Свои люди — сочтемся»): «Капитоша увлекся литературой, любил театр и на этой почве сдружился с Дмитриевским и Четвериковым. Они знали, что в первый час войны комсомольский билет Николая Шелешнева был залит кровью, что этот необыкновенно подвижной, с горячим сердцем юноша — жертва судебного произвола».

На титульном листе книги — дарственная надпись: «Дорогому «Капитоше» Шелешневу — мужественному человеку и патриоту, с неугасимым комсомольским огоньком в душе на добрую память от автора. Бор. Дьяков. 12.04.66 г.».

В предисловии автор заявляет, что в книге нет вымысла и он рассказывает о том, что сам видел, слышал, пережил.

Учитывая это, Прокуратура СССР по жалобе Шелешнева возбудила производство по вновь открывшимся обстоятельствам и установила: оснований для реабилитации нет.

В постановлении о прекращении производства по делу Н. Е. Шелешнева от 20 января 1968 года сказано: «Шелешнев признан виновным и осужден за то, что, находясь в плену, в сентябре 1943 г. добровольно поступил на службу в немецкую армию, принял присягу на верность фашистскому правительству, получил зва-

* Варейкис Иосиф Михайлович (1894—1939) — член КПСС с 1913 года, советский государственный и партийный деятель, был первым секретарем областных (Центрально-Черноземного и Воронежского) и краевых (Сталинградского и Дальневосточного) комитетов партии, членом ЦК ВКП(б), членом ВЦИК и ЦИК СССР. Б. А. Дьяков в интервью еженедельнику «Ветеран» отмечает: «Работая в редакциях партийных газет Воронежа, Сталинграда и Хабаровска, я несколько раз встречался с Варейкисом — и в рабочей, и домашней обстановке». — Прим. ред.

ние рядового эсэсовца, а вместе с этим установленный образец форму и жалование 30 марок в месяц...

На предварительном следствии и в суде Шелешнев признал себя виновным в предъявленном ему обвинении и дал подробные показания об обстоятельствах пленения, посягательства на службу к немцам и о сотрудничестве с ними на протяжении 1943—1945 гг. (лист дела 64—95, 124—125)...

Автор книги «Повесть о пережитом» Б. Дьяков написал о Шелешневе как о «жертве судебного произвола», не имея к тому каких-либо оснований.

Будучи допрошен по этому вопросу, свидетель Дьяков показал, что он Шелешнева ранее не знал, о нем в книге написал со слов Гуральского, находившегося вместе с ним в местах заключения... (лист дела 372—373, 444—445)...

Кто же такой Гуральский? Материалы дела показывают, что действительно его имя — Хейфиц Абрам Яковлевич. 17 ноября 1950 года он был осужден к 10 годам лишения свободы. В реабилитации ему Верховным судом СССР 23 июня 1955 года отказано, поскольку, являясь негласным сотрудником органов госбезопасности, он дезинформировал эти органы, занимался фальсификацией материалов, голословно утверждал о наличии очагов иностранных разведок в государственном и партийном аппаратах Советского государства, принимал участие в «разоблачении» Бела Куна, Пятницкого, Чубаря, Любченко, Гринько* и других, которые были обвинены в тяжких преступлениях, осуждены к высшей мере наказания по сфальсифицированным материалам.

Б. Дьяков в «Повести о пережитом» рисует Гуральского как партийного работника, героя большевистского подполья, соратника видных деятелей КПСС и Коминтерна, который якобы был безвинно репрессирован и позже реабилитирован.

ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА Б. ДЬЯКОВА

Б. А. Дьяков, 1902 года рождения, русский, с незаконченным высшим образованием, арестован 1 ноября 1949 г. по подозрению в проведении антисоветской агитации.

Словесный портрет по анкете арестованного: рост — средний, фигура — полная, голова — с проседью, глаза — серые, лицо овальное, брови — широкие, нос — толстый, рот — большой, губы — тонкие. Особые приметы: родинка на левой щеке.

На фронте не был, имел бронь.

Б. Дьяков Особым совещанием осужден 6 сентября 1950 г. по статье 58-10-11 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы за антисоветскую агитацию и принадлежность к троцкистской организации.

* Чубарь Влас Яковлевич (1891—1939) — советский государственный и партийный деятель, член КПСС с 1907 года, был членом Политбюро ЦК ВКП(б), ВЦИК, ВУЦИК, ЦИК СССР и его Президиума.

Гринько Григорий Федорович (1890—1938) — советский государственный и партийный деятель, был наркомом финансов СССР, кандидатом в члены ЦК ВКП(б).

Любченко Панас Петрович (1897—1937) — советский государственный и партийный деятель, был секретарем ЦК КП(б) Украины, председателем Совнаркома УССР, членом ЦИК СССР.

Пятницкий (Таршис) Иосиф Аронович (1882—1938) — деятель российского и международного революционного движения, член Коммунистической партии с 1898 года, был членом ЦК ВКП(б).

Кун Бела (1886—1939) — деятель венгерского и международного коммунистического движения, один из основателей Компартии Венгрии.

ИЗ ПИСЬМА Б. ДЬЯКОВА МИНИСТРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР

«Два с лишним года я нахожусь в заключении, не совершив никакого преступления перед партией и Советским государством — ни словом, ни делом, ни мыслью. Сажу среди врагов в чуждой и гнетущей меня духовной атмосфере. Временами кажется, что все это происходит в каком-то страшном бреду...»

В 1937 г. вместе с Мельниковым Г. Н. и другим моим лжесвидетелем Терентьевым Ф. И. были арестованы еще 6 сотрудников «Сталинградской правды». Им тогда было предъявлено такое же обвинение, как и мне 12 лет спустя. Их тогда, так же как и меня, Мельников и Терентьев уличали в принадлежности к редакционной троцкистской группе. Эти 6 чел. находились под следствием два года, и в 1940 г. их освободили, восстановили на работе и в партии. Вражеская клевета была разоблачена. Они полностью в курсе того, как появились в 1937 г. материалы, на основании которых я теперь осужден...

Вы знаете, что враги народа, сидевшие до 1937 г. в руководящих организациях Воронежской и Сталинградской областей, широко афишировали себя безупречными большевиками, и не я один верил в их преданность партии, не я один мог распознать в них двуликих Янусов. Вы знаете также, что порою они показно и лицемерно проявляли себя инициативными руководителями: то была ширма, за которой им легче было прятать свое вражеское лицо...

Должен сказать, что я никогда, к счастью, не раболепствовал перед руководителями области. В газетах нет ни одной моей подхалимской статьи, хотя и Варейкис и Швер*, и иже с ними что было мочи раздували свои авторитеты, насаждали культ преклонения перед ними. Но для этой цели они прибегали к помощи не местных журналистов, а известных московских писателей, занимающих и сейчас видное положение в Союзе писателей.

Если потребуется, я могу дать об этом подробное показание, но были или не были у этих писателей преступные связи с Варейкисом или Швером — такими данными я не мог располагать и не располагаю...

Не скрою, что я также был обманут всей этой широковетвистой шумихой о Варейкисе как якобы о крупном партийном руководителе, и все же, повторяю, несмотря на все это, никогда его не воспеваю. Наоборот, так складывались обстоятельства, что я, сам того не подозревая, часто преподносил ему горькие пилюли и однажды чуть не поплатился за это жизнью. Безусловно, многие воронежцы и сталинградцы до сих пор это помнят. Вот факты:

1) В 1934 г. мною были подобраны для печати материалы, резко критикующие положение с животноводством в области, в частности, разоблачающие вредительскую деятельность ряда ветеринарных работников, виновных в чрезмерно высоком падеже скота и свиного поголовья. Зав. редакцией Мельников Г. Н. положил эти материалы под сукно. На этой почве между нами вспыхнула ссора, и я подал заявление редактору с требованием освободить меня от работы в редакции. Швер предложил компромисс: направить материалы на согласование нач. ветеринар-

* Швер Александр Владимирович был редактором воронежской «Коммуны», «Сталинградской правды», «Тихоокеанской звезды» в 30-е годы. Под его руководством в этих газетах работал Б. А. Дьяков. — Прим. ред.

ного управления Викторову (пользовавшемуся, как известно было в редакции, большим авторитетом у Варейкиса). Я заявил, что в таком случае передам материалы в «Правду». Тогда Швер приказал их напечатать.

Викторов вскоре был арестован, приговорен к высшей мере наказания, и, как потом выяснилось, эти материалы были тоже использованы, как обвинительные.

2) 11 января 1936 г. в «Сталинградской правде» был напечатан мой фельетон, нанесший удар по сподручному Варейкиса троцкисту Будняку — директору завода «Баррикады». Этот фельетон настолько взбесил Варейкиса, что он снял меня с работы и публично ошельмовал (см. «Сталинград. правду» от 12.1.36 г.). Лишь под общественным нажимом (письмо рабочих завода в «Правду») я был через 4 месяца восстановлен в должности фельетониста, с опубликованием в печати. А в 1937 г. в Сталинградском управлении НКВД мне сообщили, что Будняк расстрелян, а фельетон приобщен к его делу, как один из уличающих материалов.

3) Осенью 1937 г. «Тихоокеанская звезда» напечатала мой фельетон «Под вывеской музыкальной комедии», который вскрыл в Хабаровском театре группу антисоветчиков. Эта группа была репрессирована.

Это только то, что удается сейчас вспомнить. Вообще же и в «Коммуне», и в «Сталинградской правде» ежемесячно помещалось не менее 8—10 моих статей, в которых я, не лицепритворяясь, со всей остротой обрушивался на факты антисоветского, антипартийного характера. Ряд этих статей и фельетонов, с одной стороны, оказывал, как Вы видите, помощь органам, а с другой (как теперь становится ясным) — оставался бельмом в глазу у Варейкиса. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он на следствии в 1937 г. обнаруживаемый ненавистью ко всем и к каждому, кто хоть мизинцем когда-либо прямо или косвенно прикоснулся к нему, назвал мою фамилию, попытавшись нанести удар и по мне.

Кроме того, считаю своим долгом сообщить Вам, что, работая в Сталинграде, я в течение ряда лет являлся секретным сотрудником органов, причем меня никто никогда не понуждал к этой работе, я выполнял ее по своей доброй воле, так как всегда считал, и считаю теперь своим долгом постоянно, в любых условиях, оказывать помощь органам в разоблачении врагов СССР. Это я делал и делаю...

Выполняя конкретные поручения органов, я сдал в Сталинградское управление НКВД ряд материалов об антисоветской агитации, проводившейся отдельными лицами и группой лиц, работавших в литературе и искусстве. В частности, о клеветнических произведениях местных писателей Г. Смольякова, И. Владского и других (осуждены органами); о систематической вражеской агитации, которую вел финский подданный, артист Сталинградского драмтеатра Горелов Г. И. (он же Полежаев Г. И.), прикрывая ее симуляцией помешательства (осужден в 1941 г.); о враждебной дискредитации Терентьевым Ф. И. знаменитого советского писателя А. Н. Толстого на банкете в редакции в 1936 г., и т. д...

29 мая 1950 г. подал заявление в МГБ СССР (через следователя Чумакова) о подрывной работе ряда лиц в советской кинематографии. Судя по газетам, часть моих сообщений подтвердилась...

В декабре 1950 г. в Озерлаге на лагпункте 02 я выдал органам письменное обязательство содействовать им в разоблачении лиц, ведущих антисоветскую агитацию. Это содей-

ствие я оказываю искренне и честно и нахожу в этом моральное удовлетворение от сознания, что я и здесь, в необычных условиях приношу известную пользу общему делу борьбы с врагами СССР.

...Конечно, я не святой человек, бывали и в моей работе ошибки, но ошибки невольные, случайные, не причинявшие вреда общему делу.

Такова моя жизнь, такова моя работа и таков их жестокий конец.

Обращаюсь к Вам, как к члену Советского правительства, как Министру государственной безопасности: не оставьте без внимания это письмо;

не допустите, чтобы зря была загублена моя жизнь, мои творческие способности — я могу, я хочу, я должен принести еще большую пользу;

дайте, пожалуйста, распоряжение пересмотреть мое дело с учетом всего здесь изложенного, снимите с меня тяжкий груз клеветы, окажите мне политическое доверие, и я всесторонне оправдаю его.

Борис Дьяков

7 января 1952 г.
Озерлаг, л/п 02».

НЕОБХОДИМОЕ РЕЗЮМЕ

С 1953 по 1968 год мы занимались проверкой уголовных дел репрессированных в послевоенное время. Много, очень много безвинно осужденных было представлено тогда на реабилитацию. Многим было возвращено честное имя. К сожалению, зачастую посмертно.

Были и немногие, которым отказывалось в реабилитации, как, например, это сделано в отношении изменника Родины Н. Шелешнева. Его, активно сотрудничавшего с эсэсовцами, писатель Б. Дьяков в своей книжке «Повесть о пережитом» изобразил отважным подпольщиком.

Н. Шелешневу на законных основаниях было отказано в реабилитации, несмотря на активное заступничество Б. Дьякова. Писатель пытался доказать недоказуемое. Мы вынуждены были придать этому делу огласку, и газета «Советская Россия» в 1968 году напечатала две публикации, в которых показано истинное лицо предателя и серьезно критиковался его защитник писатель Б. Дьяков.

Прочитав недавно в «Ветеране» публичное заявление Б. Дьякова о том, что он никогда не кривил душой и намерен переиздать свои книжки «Повесть о пережитом» и «Пережитое» в издательстве «Советская Россия», где долгие годы был редактором, мы решили обнародовать известные нам факты из его прошлой деятельности.

На такой шаг, должны признаться, мы решились не сразу. Нас сдерживал преклонный возраст писателя. Однако, обсудив еще раз все и учитывая, что факты касаются не только одного Дьякова, но и тех, кто так легко решился на издание книги вопреки уже известным обстоятельствам неправомерного поведения писателя, о которых были информированы и руководство издательства, и Правление Союза писателей СССР, мы решили предать гласности эти факты.

Нас побудило к этому и то, что еженедельник «Ветеран», доверившись Б. Дьякову, не сумел объективно рассказать о нем всю правду и ввел в заблуждение широкую общественность.

Н. МОЗГОВ,
генерал-майор,
бывший начальник окружного
управления КГБ,
Б. ПЛЕХАНОВ,
полковник юстиции,
бывший прокурор отдела
Главной военной прокуратуры.

ОТБОРНОЕ ЗЕРНО



Геннадий
РУСАКОВ

Прифронтовые скитания осиротевшего ребенка по выжженной, голодной и холодной родине, послевоенный детский дом, Суворовское училище, а потом благополучная вроде бы юность, работа синхронным переводчиком. Почему же спустя сорок лет криком кричит в этих стихах неутоленное детство, исходит болью юность и никак не может отстраниться от того, что для других прошло и стало историей, зрелость? Как писал о Геннадии Русакове один критик, этот поэт не умеет вспоминать о войне. Война и сиротство здесь не тема, не воспоминание, а часть организма, рана, сформировавшая поэтический костяк души. Рана, открытая слову. Геннадий Русаков издал лишь две книги своих стихотворений. Первая — «Длина дыхания». Вторая — «Время птицы». Немного к пятидесяти годам. Немного, если сравнивать с библиографическими списками удачливых коллег-стихотворцев. Много, если взвесить груз поэтической строки, наполненной не стихотворными мемуарами и не рифмованной прозой, а светом боли и мысли. Сейчас в «Советском писателе» готовится новая книга лирики Геннадия Русакова.

НИТЬ

По всей России карточки висят —
линялые семейные знамена.
Но даже те, кому под пятьдесят,
не всех на снимках помнят
поименно.

Права живых — любить и забывать.
Любая боль с годами остывает.
Нельзя полжизни безответно звать
и помнить, что ответа не бывает.

Я говорю, а не могу сказать.
Я всех назвал, а снова называю.
Мне б только нить,
мне только нить связать!..
Но тороплюсь — и часто обрываю.

Да пропади ты пропадом, судьба!
Мне б нить связать между собой
и теми,
на карточках, где слава и гульба
и корчится обугленное время!..

ТЕ ГОДЫ

Где мой род, заносчивое племя?
Был — и нет, и некому жалеть.
Я не в счет, не мной болеет
время.
Господи, зачем ему болеть?

Вот оно — кирзовое, шпанское,
на мякинный зарится калач,
горькое, какое-никакое,
матюгом закусывает плач.

Вот он, мир привычного расклада,
точных мер карающей руки:
за утайку грядки самосада,
за лихое дело — колоски.

Долог путь до праздничного пира,
до застолий через тридцать меж...
Мать моя, судьба, шестая мира!
Ты хоть нынче досыта поешь!

Для кого стрекочут косовицы?
Для кого тучнеют зелена?
...Есть любовь — от боли
удавиться.
Отведи такую от меня.

УЧЕНИЯ

И мальчики-ровесники, опора,
штабной резерв, отборное зерно,

опять умрут, опять во вторник,
скоро...
Они пришли, им нынче все равно.
Нет гордых войн — одна сплошная
плаха.

Вот я бегу, и полы под ремнем,
и отхрипев за полосой страха,
опять умру во вторник, завтра
днем.

Что жизнь? Что стыд?
Они уже за нами.
Все отлетело, смерти больше нет.
Есть лишь земля с простыми
именами

да этот белый, этот белый свет.
...О ком ты, лжец, чужое чадо
Львова?

Куда теперь — неужто им вдогон?
Тогда и ты пади по воле слова
на Яворовский страшный полигон,
стань ровней тех, с кем больше
не сравниться...

Уже горит, уже обожжена
июньская прощальная денница
и захидная нищая страна.
Мой вторник там, а новому
не скоро.

Мне ни судить, ни славить
не дано.
Но мальчики-ровесники, опора,
штабной резерв, отборное зерно!

Все зло на свете — именем добра.
Благословим своих пророков имя
за то, что завтра лучше,
чем вчера,
а нынче — просто прочерк
между ними.

Тащить к добру, лупя по головам:
давай, давай, история-старуха!..
Что ж, дорогие, так несладко вам?
Ведь из-за вас вся эта заваруха.

А я не знаю, в чем добро других,
и всех затрат на выучку не стою.
Я вышел к людям.
Чем я встречу их?
Пусть не добром —
хотя бы добротою.

Просовы на дорогах.
Глухие вечера.
Накоплено немного,
а больше, чем вчера:

две лужи у сарая,
у вмерзшей бороны,
поленица, сырая
с нагретой стороны.

«Солдатики» по щелям,
трещание сорок —
начало канители,
являющейся в срок.

И снова это небо,
и волглые ветра.
И я как будто не был,
а быть уже пора.

Когда я в жизнь входил, как ветер
входит в воду.
и слышал за спиной грачиный
переплес.
я мог по скосу крыл угадывать
погоду
и предрешать сезон по блеску
птичьих глаз.

А нынче гложет день,
раскормленный июлем,
цезарианский жезл вздымая
над собой,
и тучные шмели, подобно ватым
пулям,
врезаются в забор то вдруг,
то вразнобой.

Пускай за нас июль подсчитывает
строчки —
он будет нас по ним на память
узнавать.
Я долго вырос из тесной
оболочки.
Но вырос и пришел — куда меня
девать?

Сто лет взаимности мне время
обещало.
Любимая, взрослеть и больно,
и легко:
в карякинском саду сорока
протрещала —
мне скоро пятьдесят, и видно
далеко.

И страсть к пророчеству —
российская привычка —
уже торопит кровь и ходит
на басах.

Но прежде б жизнь прожить,
спалить ее, как спичку,
чтоб только порх, и прах, и ветер
в волосах...

Как это лето стиснуть в кулаке?
Схватить и стиснуть, чтоб мое
и было?
Чтоб плавунцов кружило на Оке
и чтоб меня столетие полюбило...

Когда кропит в закрытые глаза
небесный свет, пробившийся
под веки,
и раздвигает воздух стрекоза
движеньем крыл, увиденным
навсегда,—

я жизнь мою готов сложить к ногам
дерев и трав, года опережая.
Я сам ее придумал по слогам,
а нынче вижу: нет, она чужая.

И я гляжу, как злобное дитя,
на сотворенный мною беспорядок...
А день блещит и кружится, летя,
свою слюду роняет между грядок.

Схватить и стиснуть, спрятать,
удержать!
Ах, жизнь моя! Ведь ты совсем
не эта...
Но только б жить — за облаком
бежать
и слепнуть, слепнуть от земного
света!

ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ

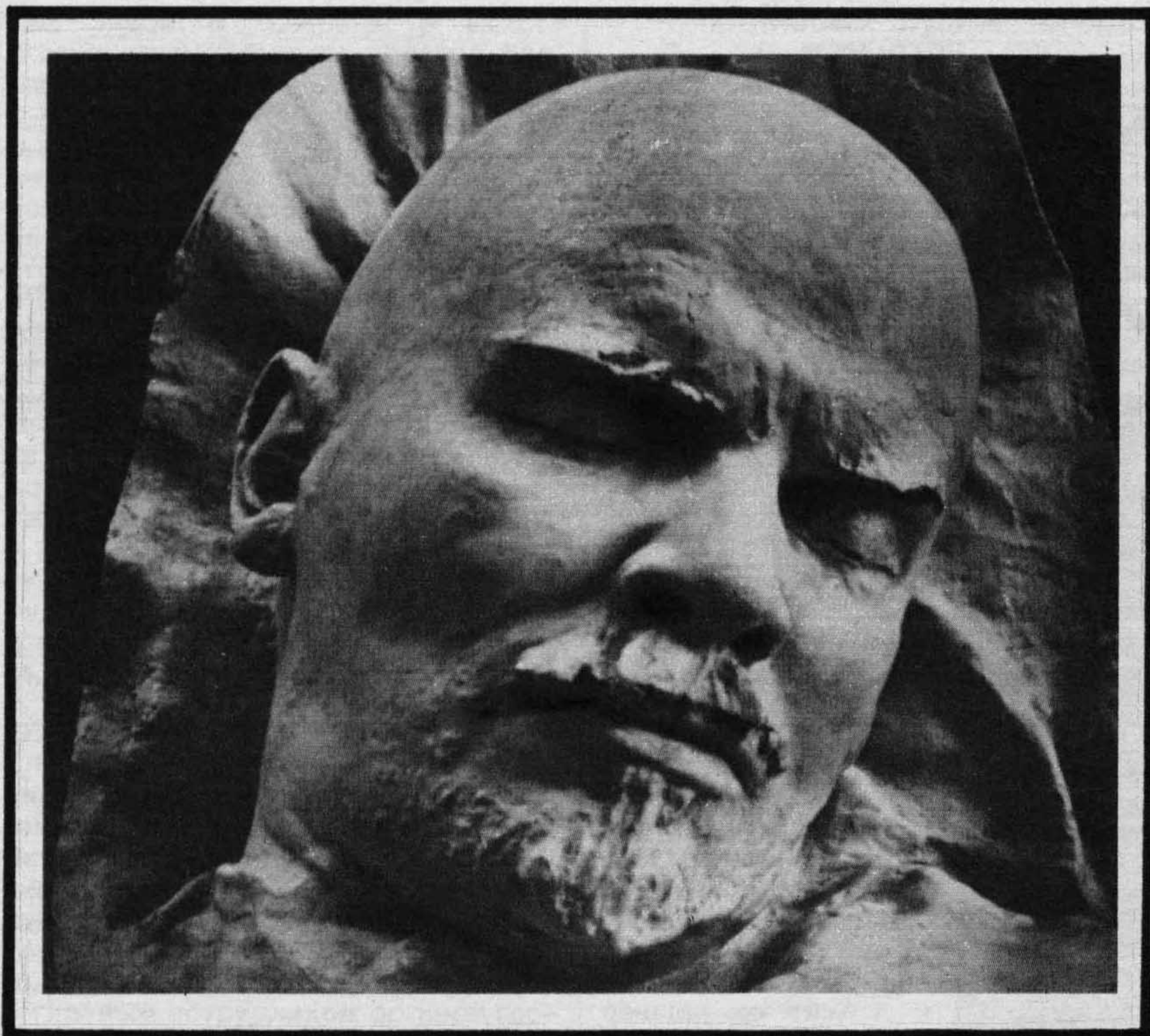
Дурачок, недотепа, затыра,
неумелый вершитель чудес,
ты опять ради божьего мира
затеваешь наивный ликбез.

Вот он, век: проповедовать птицам,
наставлять неразумных зверей,
суесловить и всхлипком давиться
у захлюстанных кровью дверей.

Кровь на кровь — это глянец
столетий.
Прах на прах — это кладка впритир.
Не сегодня, не те и не эти
завершат этот яростный мир.

У, как страшно родиться до срока,
раньше времени выйти на свет,
шепотком окликать издалика
непрожитую тысячу лет!

Милый, милый... любовь не спасает.
Видишь, времени не до того...
Это век свои руки кусает.
Это нас вызывает родство.



мглу. Только на станциях и полустанках нас встречали зелеными огнями, и мы неслись дальше. Наконец, красный огонь. Мы останавливаемся. Предлагают выходить.

Платформа. Ночь. Мороз. Трудно дышать. Мгла.

— Товарищи, а что теперь?

— Нам приказано доставить вас на эту платформу и ждать дальнейших распоряжений. Больше мы ничего не знаем.

Хожу по платформе. Мгла. Через четверть часа около платформы вырисовываются силуэты саней. Предлагают сесть в сани. Едем дальше. Освещенные ворота. Часовой в тулупе. Пропускает нас. Шагаю через двор — не узнаю двора. Я уже в помещении. Кто-то в форме ГПУ докладывает по телефону:

— Приехал Меркуров.

Меня вводят в полутемную комнату и предлагают сесть. Сажусь в угол, в глубокое кресло. В это время открывается дверь: в просвете два женских силуэта — направляются к другим дверям. Открывают двери в большую комнату; там много света, и, к моему ужасу, я вижу лежащего на столе Владимира Ильича... Меня кто-то зовет.

Все так неожиданно — так много потрясений, что я как во сне.

Сейчас вы делаете очень ответственную работу.

Слова возвращают меня к реальности.

Маска — исторический документ чрезвычайной важности. Я должен сохранить и передать векам черты Ильича на смертном одре. Я стараюсь захватить в форму всю голову, что мне почти удается. Остается незаснятым только кусок затылка, прилегающий к подушке.

В темных дверях неподвижно стоит Мария Ильинична.

За время работы она не вздрогнула. Я чувствую ее застывший взгляд.

В голове у меня мелькает художник Каррьер с его полотнами в полутенях — в полумраке.

Наконец к четырем часам утра работа готова.

Меня торопят. Приехали профессора для вскрытия. Последний прощальный взгляд. В мыслях проносятся: Швейцария, Цюрих, Айнтрахт — выступления Ильича. Потом Москва — Кремль — далее Красная площадь. С Лобного места Ильич говорит. Речь его проста. Яркая. Образна. Его картавое: «Товарищи», брошенное в массы. Кругом бушует народное море. И сейчас здесь на столе... он — Ленин.

ПОСМЕРТНАЯ МАСКА В. И. ЛЕНИНА

Народный художник СССР скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров (1881—1952 гг.) учился в Академии художеств в Мюнхене, работал в Париже. Является участником реализации ленинского плана монументальной пропаганды. Ему принадлежат такие известные произведения, как статуя Ф. М. Достоевского, памятник К. А. Тимирязеву, горельеф «Расстрел 26 бакинских комиссаров» в Баку.

В настоящее время в издательстве «Искусство» готовится к печати книга, посвященная творчеству С. Д. Меркурова. Отрывок из его воспоминаний мы публикуем сегодня.

(Ночь с 21/1
на 22/1 1924 года)

Мороз. Пурга. Лес. Измайлово.

Вечер.

Работаю в полушубке. Холодно. В большое окно студии стучит ветер. Слышно, как кругом в лесу кряхтят и стучат старые сосны.

Задребезжал телефон.

— Что ты делаешь?

— Работаю.

— Что так поздно?

— Какое «поздно», ведь только 8 часов.

— А ты будешь все время в мастерской?

— Что, прикажешь в такой мороз и пургу в лес идти?

— Ну, прости! Работай.

Через час опять звонок.

— Ты все работаешь?

— Да!

— Прости, мы здесь в Совете поспорили, хотим проверить: скажи, пожалуйста, что нужно, чтобы снять чью-нибудь маску?

— Четыре кило гипса, немного стеариновой смази, метр суровых ниток и руки хорошего мастера.

— Все?

— Все!

— Спасибо. Прости за беспокойство. Ты все будешь работать и куда не уйдешь?

— Нет, не уйду.

Пурга в лесу бушует.

Закрываю ставни. Собака жмется к печи.

Снова дребезжит телефон.

— Сейчас за тобой будет автомобиль. Приезжай в Совет, ты нужен. Через час стук в двери. Автомобиль у опушки леса. Не добрались.

— Одевайся. Едем. Ты нужен по делу. Узнаешь в Совете.

Как был в полушубке, вышли. Дошли до автомобиля. Приехали в Московский Совет.

Мертвые комнаты. Неестественная тишина. Огни потушены. Темно. Кой-где горят дежурные лампочки. В одном из углов большой комнаты два товарища во всем кожаном. За поясом оружие. Ждут меня.

— Вот ты поедешь с ними.

— Куда?

— А туда, куда надо. Приедешь и узнаешь!

Автомобиль подан. Я прощаюсь.

— Итак, до завтра!

В автомобиле. По бокам два товарища в кожаном. Мой полушубок мало спасает от холода. Автомобиль идет по Замоскворечью. Мы у Павелецкого вокзала. Нас встречает человек десять — в штатском пальто. Под пальто замечаю военную форму. Мелькает мысль: если вопрос касается меня, то десять человек для меня слишком много, могли обойтись двумя-тремя. Значит, я отпадаю. Мысли совершенно отказываются работать.

Ко мне подходят.

— Вам придется довольно долго ехать в автодрезине. Будет холодно. Наденьте еще вот эту шинель.

Я в автодрезине. С двух сторон два товарища в кожаном. Последние распоряжения.

Все закрывается кругом. Замахали сигнальными огнями, засвистело, загудело, и мы понеслись в ночную

У изголовья Владимира Ильича стоит Надежда Константиновна. Она крепится. Но безмерное горе задавило ее.

В противоположной стене полуоткрыты двери в темную комнату. В дверях застывшая в горе Мария Ильинична.

Слышу тихий голос Надежды Константиновны: «Да, вы собирались лепить бюст Владимира Ильича, ему все было некогда позировать и вот теперь... маску...».

В комнате я нахожу все, что мне нужно для снятия маски.

Подхожу к Владимиру Ильичу, хочу поправить голову — склонить немного набок. Беру ее осторожно с двух сторон: пальцы просовываю за уши, к затылку, чтобы удобнее взять за шею. Шея и затылок еще теплые. Ильич лежит на тюфяке и подушке. Но что же это такое?! Пульсируют сонные артерии! Не может быть! Артерии пульсируют! У меня страшное сердцебиение. Отнимаю руки. Прошу увести Надежду Константиновну.

Спрашиваю у присутствующего товарища, кто констатировал смерть.

— Врачи.

— А сейчас есть кто-нибудь из них?

— А что случилось?

— Позовите мне кого-нибудь.

Приходит.

— Товарищ, у Владимира Ильича пульсирует сонная артерия вот здесь, ниже уха.

Товарищ нащупывает. Потом берет мою руку, откидывает край тюфяка от стола и кладет мои пальцы на холодный стол. Сильно пульсируют мои пальцы.

— Товарищ, нельзя так волноваться — пульсирует не сонная артерия, а ваши пальцы. Будьте спокойны.

В Комиссию ЦИК
по организации похорон В. И. Ленина
Скульптор С. Д. Меркуров

Заявление

По поручению Л. Б. Каменева мной была снята гипсовая маска В. И. Ленина в Горках в день смерти в 4 часа утра. Тогда же я снял слепки кистей рук, правой и левой. Правая кисть была сведена, поэтому я принужден был снять ее в сжатом виде. После осмотра этих работ Л. Б. Каменев поручил мне отлить и отпатинировать слепки для следующих товарищей: 1. Н. К. Крупской, 2. М. И. Ульяновой, 3. А. И. Елизаровой-Ульяновой, 4. Г. М. Кржижановскому, 5. Л. Б. Красину, 6. Ф. Э. Дзержинскому, 7. В. В. Куйбышеву, 8. А. Д. Цурюпе, 9. ЦК РКП, 10. И. В. Сталину, 11. М. П. Томскому, 12. Л. Д. Троцкому, 13. Г. Е. Зиновьеву, 14. Л. Б. Каменеву, 15. А. И. Рыкову, 16. Я. Э. Рудзутак, 17. В. М. Молотову, 18. М. И. Калинин, 19. Н. И. Бухарину, 20. МК РКП. Теперь мной выполняется эта работа, и по мере исполнения маски доставляются вышеуказанным товарищам. Оригинал задерживался мной, так как мне необходимо было делать с него клеевую форму для отливки.

В настоящее время работа по отливке закончена, и маска и кисти рук доставлены в Институт В. И. Ленина.

Довожу до сведения Комиссии, что мной начаты по своей инициативе работы по выполнению означенной маски из мрамора, а также начат бюст В. И., и я приступил к предварительным работам по исполнению гранитной фигуры В. И. Ленина.

26.11.1924 г., Москва

Скульптор МЕРКУРОВ

Публикация Г. С. МЕРКУРОВА

центральной сберкассы Кавтарадзе. — Деньги нужны срочно, до 17.00. Решается судьба одной честной женщины... Прошу вас...

И судьба решилась. Обвинительное заключение было на 70 листах, приговор — на 32.

КОНЕЦ ЦАРСТВОВАНИЯ ЦИКАРИШВИЛИ

Не стану описывать заседания суда, во время которых подсудимая, продолжая отрицать недоказанную вину, пыталась пояснить, как следователь вырвал из нее лжепризнание. У почтенного суда это так и не вызвало должного интереса. Отмечу лишь, что подсудимая допрашивалась при стенокардии, в состоянии гипертонического криза и, к счастью, осталась жива. Что же касается остальных персонажей этой уголовной истории, то последние дружно роняли крупную слезу раскаяния и, в большинстве, спешили на прежнюю работу. Туда, где недавно совершали свои преступные дела. На один из рынков поспешил и я...

Это был двухэтажный Центральный рынок — крупнейший у нас в стране. Там и надеялся услышать я о переменах к лучшему. О том, например, что исчезли с рынка спекулянты, о падении цен. Как-никак, а рыночная торговля навсегда избавилась от главного носителя зла — Цикаришвили.

— Перемены есть, — услышал я в Первомайском РОВД. — Количество спекулянтов возросло...

— Цены растут, — вздыхая, отвечали мне посетители рынка.

И мне невольно вспомнилась та строчка из процитированной выше статьи «Известий» за 1985 год: «Цены на рынках Тбилиси понизились!» Это был период «царствования» той самой Цикаришвили.

То, что выкорчевывала негодная Цикаришвили вчера, сегодня произрастало с не меньшей силой. Отменили на рынках и справки, по которым можно определить, имеет ли продавец фруктов свой сад. Если нет, значит, фрукты перекупленные. Никак не определить теперь, кто за прилавком: труженик-крестьянин или спекулянт. Впрочем, это вряд ли имеет теперь какое-нибудь значение. Особенно для тех, кто, устранив с дороги Цикаришвили, безнаказанно вернулся к доходным квадратам прилавков...

В ТЕНИ ЗАКОНА

Это было пылкое послание из солнечного Тбилиси. «Мы возмущены действиями корреспондента М. Корчагина...» — так начиналась жалоба, недавно пришедшая из Грузии.

Впрочем, не привыкать нам, журналистам, к этому жанру творчества наших отрицательных героев. Им не откажешь в оперативности. Еще не опубликовано ни строчки, а из потревоженного «гнезда» уже выпархивают во всевозможные инстанции почтовые «голубки». Только бы помешать публикации, только бы нейтрализовать разоблачителя, вылив на него ушат грязи...

Контрмеры на сей раз предпринимали взяточдатель-посредники, хорошо понимавшие, что только благодаря необъяснимому юридическому чуду остались на свободе. О чем же можно написать после десятиминутной вполне корректной беседы? Оказывается, о многом. Из послания явствовало, что за 10 минут я успел: «...нарушить их гражданские права, ...горько оскорбить их личность... учинить им допрос в злопыхательской форме, со злобой, заявляя грубо в лицо».

А что, например, стоило им же, но в компании с остальными взяточдателями дружно заявить в прокуратуру приблизительно следующее: «Корреспондент грубо вымогал взятку 100 000 рублей, пугая опубликованием фельетона... А мы, испугавшись, вынуждены были дать... **Заявляем добровольно!**»...

И я не уверен, что после этого мною не заинтересовались бы органы, а мой дом, согласно дружно поданным заявлениям, не провернули бы вверх дном. Нет уверенности и в том, что вышеописанная история не повторяется ныне где-то в любом другом городе. Потому что безумно прост сегодня механизм оговора. Но нет, увы, механизма защиты. Да и как ему быть, если сохраняется пока в Уголовном кодексе одна довольно удобная для оговорщика лазейка:

«Лицо, давшее взятку, **освобождается** от уголовной ответственности, ...если это лицо после дачи взятки **добровольно** заявило о случившемся». Это примечание к статье УК «дача взятки».

Но ведь так можно оговорить любого, свести счеты с каждым, оставшись при этом в тени закона. Особенно если за «дело» взяты средства. Ведь достаточно заявить «добровольно». И вот заявле-

ние в прокуратуре. Над ним уже энергично корпит следователь, один за другим являются на допрос «взяточдатель». Иными словами, запущена в ход машина следствия, неумолимо крутятся ее маховики. И нет гарантии, что она остановится, что следователь не будет обуреваем огромным желанием «раскрыть» преступление века, возвеличив себя в глазах рядовых современников. Не об одном таком «разоблачении» помним мы сегодня.

Это и громкое одесское дело начальника городского ОБХСС А. Малышева, арестованного за получение эфемерных тысяч рублей. Это и шумное московское дельце оговоренного проректора ВЮЗИ Н. Кондратенко, когда заявления тоже писались с гарантией на заочное помилование оговорщиков. О них писалось в очерках «Литературной газеты» «Шторм после шторма» и «Тайна следствия». Это и «404 дня» зам. начальника Главного управления Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР, «взяточницы» Л. Леоновой, коротавшей эти дни в Горьковском следственном изоляторе («Огонек» № 51 за 1987 год), и 669 дней А. Чюфирова, бывшего начальника Главкурорттора Минторга РСФСР, осужденного Краснодарским краевым судом, но полностью оправданного Верховным судом СССР. И сколько еще таких вот «преступлений» века предстоит описывать нам, журналистам, пока Оговор остается **явлением**, клеветник — в тени закона, а «презумпция невиновности» — набором пустых звуков, летающих с уст донкихотствующих адвокатов.

Именно в эти дни идет серьезный пересмотр статей Уголовного кодекса с тем устаревшим (1962 года!) примечанием. Исключением не должна стать и статья «дача взятки», недоработанность которой сегодня на руку оговорщикам. Что может быть страшнее этой неотлаженной судебно-правовой машины на столбовой дорожке нашей жизни. Казалось бы, одна недошлифованная деталь в этой работающей машине, а сколько возможных катастроф и покалеченных в них судеб...

И давайте-ка не будем надеяться, что очередное заявление вдруг попадет в руки добропорядочного следователя. Таковые, конечно, имеются и, надеюсь, в абсолютном большинстве. Но человеческие судьбы не должны зависеть от степени порядочности следователя, судьи, прокурора. Гарантией должен стать сам закон без двусмысленности и хитроумных лазеек.

ДЕФИЦИТ НА ДЕФИЦИТ

ПРОШУ СЛОВА!

СДАЕТСЯ МНЕ, ЧТО НАШЕМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ НЕ ДАЮТ ПОКОЯ ЛАВРЫ ГАЗЕТЫ «МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ». ОНО... НЕТ, НАЧАЛА ВСЕ-ТАКИ НУЖНО СКАЗАТЬ О «МОСКОВСКИХ НОВОСТЯХ».

* * *

По средам, впрочем, как и в другие дни недели, я встаю поздно. То есть после семи. И в ближайший газетный киоск бежать уже бесполезно. Истинные «жаворонки» в три минуты расхватывают 20 экземпляров «Московских новостей». Как говорится, кто зеваает, тот (ох, как бы не обидеть кого из коллег!), ну, скажем так, «Рекламное приложение» к «Вечерке» читает.

Но не зря также говорится: «не имей сто рублей...» Есть у меня давний приятель. Работает он в одном важном НИИ, и у них там проблема противоположная: тот, кому удастся купить «Московские новости», чуть-чуть, получается, опаздывает на службу. Так вот, коллектив практичных инженеров позволяет по средам это «чуть-чуть» одному из своих членов (но только одному). И тот приносит один экземпляр «МН» — больше не дают в одни руки, как, скажем, в гастрономе «Восход» в одни руки не дают больше двух килограммов сахара.

Но больше и не надо. Что касается газеты, то в важном НИИ делают проще простого: пропускают ее через аппарат «Хегох» и имеют столько, сколько надо. Сколько именно — не знаю. Мне вполне достаточно того, что мой бывший сосед, прочитав свой экземпляр, передает его мне. И я могу с полным знанием дела, например, опровергать разнообразнейшие слухи и домыслы, начинающиеся со слов «А вот в «Московских новостях» писали». Или, напротив, авторитетно подтвердить: «Да, писали. Но не так».

Вот так я и жил себе спокойно, пока не прочитал в первомайском выпуске еженедельника, в статье Камила Икрамова, такие слова: «Никак не возьму в толк, как это людям в Минске, Лисичанске, Душанбе, Новосибирске и Иркутске удается достать «Московские новости», если я, четверть века дружа с главным редактором этой газеты и ответственным секретарем, достаю ее только тогда, когда сам зайду в редакцию и при этом только в день выхода очередного номера».

«Мать честная, — подумал я, — это сколько же от Москвы до самых до окраин еженедельно сни-

мается копий с каждой из шестнадцати газетных страниц!»

Все-таки жаль, что я не экономист. Вот взял бы и внес рационализаторское предложение: попробовать печатать потребное количество «Московских новостей» в обычной типографии на обычной бумаге. А естественно сэкономившуюся на этом валюту (ведь все эти «Хегохы», всякие порошки, бумага и прочие причуды к ним покупаются за рубежом) направить на приобретение точно такой же, обыкновенной типографской бумаги. И глядишь, ее хватило бы не только на «МН», а еще, может, и на «Историю государства Российского» Н. Карамзина с приложением в виде журнала «Москва».

А теперь скажите: как можно сделать дефицитной телевизионную передачу, выпущенную в вольный эфир? А вот так — не объявлять ее в программе. Кто успел, тот и съел. Сначала этот способ попробовали на некоторых передачах о перестройке, идущих до «Времени». Вроде получилось — поползли кое-какие слухи, пересказы и т. п. Тогда взяли и поступили много смелее — врубили в эфир без всякого предупреждения полуночную передачу. Эффект, по-моему, превзошел все возможные ожидания. О том, что практически никто не видел, говорила вся страна. Правда, многие до сих пор сомневаются, что это на самом деле было: дескать, «Би-би-си» посеяла безответственные слухи.

Но вот уже передача «Интеллигенция и перестройка» по Ленинградской программе была. Точно была! 28 апреля. Во-первых, о ней сообщили в газетах (в наших, а не западных) — за 30 апреля. А во-вторых, продолжающее пребывать в волнении море слухов выплескивает очень уж много каких-то конкретных деталей, которые вряд ли высосешь из пальца.

— А Конечский ей говорит: «Ну, знаете...»

— А Герман им говорит: «Как вам не стыдно...»

— А Товстоногов говорит...

Ну, и так далее. Естественно, «самое-самое». Очень интересно.

Послушайте, друзья-ленинградцы! Вы там были ближе к этой самой «Интеллигенции и перестройке». Может, пришлете нам видеокассету? А мы вам — ксерокопию «Московских новостей». Дефицит на дефицит. Честно. Так и будем крепить ряды сторонников перестройки.

Может, на то и рассчитано?

Александр ЩЕРБАКОВ

ОТ РЕДАКЦИИ

Не успела еще высохнуть типографская краска на «Огоньке» № 19 за 1988 год с очерком А. Головкова «...Мир погибнет, если я остановлюсь» (о ленинградском социологе и рабочем А. Н. Алексееве), как пришла весть: Андрей Николаевич может наконец получить новый партбилет при полном сохранении партстажа. Четыре года Алексеев терпеливо добивался справедливости и верил, что она будет восстановлена. И вот 3 мая в заводском парткоме его ознакомили с решением Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

Этого события ждал не только он, но и многочисленные друзья, товарищи по партии, по науке, соратники по борьбе — ученые, рабочие, журналисты. Ждали «огоньковцы» и наши единомышленники из «Литературной газеты». И что же? Вот они, строки из этого долгожданного документа, подписанного заместителем председателя КПК при ЦК КПСС И. Густовым: «Учитывая, что допущенные ранее тов. Алексеевым А. Н. проступки не носили политического характера (выделено нами. — Ред.), удовлетворить ходатайство Ленинградского ОК КПСС от 24 ноября 1987 года — восстановить его членом КПСС с июня 1961 года. Ограничиться обсуждением вопроса о тов. Алексееве А. Н. и сделанными ему замечаниями на заседании Комитета...».

Как говорится, радость со слезою пополам. И все же от души поздравляем Андрея Николаевича с победой.

ОТДЕЛ МОРАЛИ И ПИСЕМ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В НАШЕЙ ПЕЧАТИ НЕ РАЗ ГОВОРИЛОСЬ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ. НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ ОБЩЕСТВА, ВИДНЫЙ СОВЕТСКИЙ БИОЛОГ, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АН СССР АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯБЛОКОВ.

Не надо ставить капканы

Фото Игоря ГАВРИЛОВА



о-моему, надо говорить не о создании — о воссоздании общества. В России общество покровительства животным было создано еще в 1865 году. У нас есть к чему вернуться, есть национальный

опыт, который можно использовать сейчас, когда образовался дефицит человечности — в отношениях между людьми, в отношении человека к природе, к живому... Несколько назад мне пришлось в составе консультативной комиссии Верховного Совета СССР принимать участие в разработке Закона об охране и использовании животного мира. Когда проект закона был опубликован, мы получили тысячи писем с предложением ввести в него статью о гуманном обращении с животными.

— Существуют ли подобные общества за рубежом?

— Конечно. Скажем, в США десятки таких. А в Гамбурге, например, их девять. Но главное не в количестве, а в том, что в современном мире эта проблема перестала быть делом частной благотворительности, обсуждается на государственном и даже мировом уровне. Вот, скажем, капканы — попав в них, животные часами мучаются, отгрызают лапы, чтобы уйти. Сейчас мировое общественное мнение буквально восстало против этого, страна за страной законодательно запрещает ис-

пользование капканов. Другой пример. Каким гарпуном убивать китов? Международная китобойная комиссия постановила: только «горячим», с разрывным зарядом, чтобы кит умирал сразу. А наши делегаты сначала никак не могли понять, какая разница, как будет убит кит, если ему все равно погибать.

— В 1978 году ЮНЕСКО приняла Декларацию прав животных, говорящую о непреложном праве всего живого на жизнь. Наша страна не присоединилась к декларации?

— Декларация была обнародована ЮНЕСКО, но не утверждалась — так сказать, была принята к сведению. А Страсбургская декларация 1959 года, говорящая о безболезненном забое домашних животных, подписана всеми странами Европы, кроме СССР. Согласно декларации, нельзя, например, убить корову или норку на ферме тем способом, который тебе удобен, смерть должна быть мгновенной. Кроме того, существует Всемирная Хартия природы, принятая ООН в 1982 году, под которой стоит подпись СССР. Цитирую: «...любая форма жизни является уникальной и заслуживает уважения, какая бы ни была ее полезность для человека, и для признания этой неотъемлемой ценности других живых существ человек должен руководствоваться моральным кодексом поведения...» Однако о существовании хартии у нас никто не знает, даже достать ее текст мне стоило большого труда. А ведь даже просто публикация этого

замечательного документа имела бы большое общественное значение.

— Каковы же практические задачи будущего общества?

— Прежде всего сверхзадача — с помощью пропаганды защиты животных способствовать гуманизации человеческого сознания. Одна же из конкретных задач в столице — контроль за деятельностью Главмосдорууправления, на которое почему-то возложен отлов бродячих животных. Эта служба совершенно себя скомпрометировала.

— Вот один из имеющихся документов: «...на глазах гуляющих по двору детей собак протыкали железными прутьями, щенят ударяли головами о деревья. Крик убиваемых стоял в ушах, кровь залила снег возле горки...» Как люди не понимают, что, доведись их детям или внукам разок увидеть такую картину в нескольких шагах от себя, детская психика будет сильно, а порой и необратимо травмирована! И взрослой психике, уверен, не поправится.

— Кроме того, отловленные собаки с хорошей шерстью зачастую вообще не довозятся до санитарного отдела Мосгорветстанции — собаколовы сразу отправляют их шкуродерам. Необходим контроль за деятельностью санитарного отдела, производящего уничтожение животных. По инструкции они должны передерживаться там в течение трех дней, чтобы владельцы поте-

рпевшихся собак могли забрать их, заплатив штраф. В действительности собаки часто уничтожаются в день отлова, причем варварским способом — в душегубках. В то время как за рубежом давно применяются способы безболезненного усыпления. Необходимо наконец понять: допуская подобное отношение к животным, мы растлеваем души людей! Есть данные социологов: 80 процентов рецидивистов начинали с издевательств над собаками и кошками.

Самую решительную борьбу намерены мы вести со шкуродерами. Закон об индивидуальной трудовой деятельности не отменил 162-ю статью УК РСФСР, предусматривающую уголовное наказание за занятие запрещенным промыслом, к которому относится обработка и крашение шкур из собак и кошек. Нельзя об этом забывать! Общество защиты животных намерено добиваться исключения из объекта пушно-мехового промысла домашних животных, с которыми нас связывает тысячелетняя культурная традиция.

— Может, вообще не уничтожать здоровых собак?

— Сейчас мы к этому не готовы. Это наша желанная, но, к сожалению, отдаленная цель. Пока мы можем добиться, чтобы уничтожалось как можно меньшее количество. Мы вовсе не собираемся противодействовать ветеринарной службе, наоборот, мы готовы взять на себя часть ее забот путем создания пунктов передержки и приютов для

бродячих животных. Там, кстати, желающие могли бы выбрать собаку — многие ведь не в состоянии платить по 200—300, а то и по 500—600 рублей за щенка. Подобные приюты есть во всех странах мира.

— Почему бы не привлекать к защите животных школьников? Соединение труда с заботой о живом имело бы огромное воспитательное значение.

— Безусловно. Каждый человек должен начинать жизнь с милосердия... И еще одна задача общества — разбор бытовых конфликтов на почве взаимоотношения человека и животных. Случается, владельцы крупных собак выводят их без намордника. Это совершенное безобразие. Одно дело декоративная собачка, которая кусаться-то не умеет, требование надеть на нее намордник смехотворно, другое дело — сторожевой пес. А случаются необоснованные требования к владельцам животных. Сейчас, по сути, владелец собаки или кошки имеет одно право — владеть животным. Да и это право ограничивается целым рядом инструкций. Но ведь права и обязанности должны находиться в диалектическом единстве. Трудно требовать исполнения обязанностей, если нельзя осуществить права. Скажем, ничем не объяснимы запрещения брать своих животных в дома отдыха, санатории, перевозить в городском транспорте. Этот вопрос за рубежом тоже давным-давно решен. В поездах и самолетах — с соответствующей, разумеется, справкой — разрешается же у нас перевозить.

— Будет ли общество добиваться принятия закона об ответственности

а 15 процентов должно идти на улучшение ветслужбы. В действительности жэки покрывают этими средствами задолженность по квартплате. Получается, что владелец просто платит за право иметь собаку. Конечно, было бы неплохо использовать собираемые деньги на создание сети общественных инспекторов при жэках, которые, будучи членами общества, занимались бы и бытовыми конфликтами, и контролем за содержанием животных, давали бы консультации. Думаю, средства позволили бы и создать небольшие районные приюты и пункты передержки.

— А каковы источники финансирования будущего общества? Членские взносы, пожертвования или хозяйственная деятельность?

— И то, и другое, и третье. Предполагаем мы выпускать брошюры, устраивать благотворительные вечера. Нам нужна некоторая сумма на обустройство, которую мы потом вернем, а вообще собираемся существовать на полную самокупаемость. Штат общества для начала намечаем в 4—5 человек. Основную работу будут вести добровольцы, энтузиасты. Уже сейчас десятки людей заявили о своей готовности безвозмездно участвовать в любой работе с животными.

— Одной из причин большого количества бездомных животных является слабая информированность населения о правилах содержания собак. Одни люди, не представляя, какие обязанности на себя накладывают, легкомысленно берут животных, а потом выбрасывают их на улицу. Вместе с тем немало людей, в принципе готовых взять жи-

вотных, но по неосведомленности преувеличивающих трудности их содержания. Неосведомленность служит почвой для различных предрассудков. Многие, например, считают, что животные создают антисанитарные условия в городе, что с продуктами у нас туго из-за большого количества домашних собак и так далее.

— Одна из задач общества — пропаганда знаний о домашних животных. Понятно, что собаки что-то едят. Но не нужно списывать на собак недостатки нашего хозяйственного механизма. Еще в 1980 году Советом Министров было принято долгожданное решение об организации производства корма для домашних животных. Увы, решение осталось невыполненным, к производству даже не приступали. Во всем мире давным-давно признано экономически выгодным такое производство, а у нас кому-то показалось это баловством. Между тем миллионы тонн некондиционного мяса гибнут. У каждого крупного города имеется скотомогильник, куда вывозятся отбросы товарного мяса. У Москвы, например, наверняка несколько скотомогильников. Мне рассказывали, как однажды некондиционные цыплята, от которых отказалась торговля, были вывезены на скотомогильник самосвалами. Да всех собак и кошек можно накормить бросовым мясом! Мы же на скотомогильниках развели волков... Да, да, не удивляйтесь — волки вокруг городов ходят!.. А сколько продуктов выбрасывается в виде так называемых пищевых отходов? Мы просто не видим то, что лежит под ногами.

Должен добавить, что «люди в белых халатах» напрасно пугают себя и родителей «грязью», «заразой» и прочими напастями. Опасность заражения человека от домашних животных — миф, злая сказка. Я утверждаю это как биолог. Ни блохи, ни глисты от собак и кошек человеку не передаются. Да, от кошки можно заразиться стригущим лишаем, но и тут соблюдение азов гигиены типа «мойте руки перед едой» вполне способно предотвратить заражение. Существенную опасность представляют бешеные животные. Но если собака привита — а с прививками от бешенства ветстанции вполне справляются — опасность исключается полностью. А теперь скажу то, чего люди, как правило, не знают. Данные медицинской статистики свидетельствуют: выздоровление больных после тяжелой

операции идет в несколько раз быстрее в доме, где есть собака или кошка. Если в предынсультном состоянии хозяин гладит свою собаку, вероятность приступа снижается на 30 процентов! А сколько людей собака спасла от тоски одиночества, от самоубийства. Как измеришь это рублем?

— Не кажется ли вам, Алексей Владимирович, что животное необходимо не только каждой семье, но и каждой детской поликлинике, каждой больнице и уж обязательно — каждому детскому дому? Животные должны войти в штат детских учреждений. Когда-то у нас были «живые уголки» в школах, пионерских лагерях. Сейчас они практически исчезли. Наши воспитатели не желают хлопот, и тем самым существенно снижают действенность своего воспитания.

— Вы правы. Надеюсь, что деятельность общества будет способствовать созданию нового отношения к городским животным — не как к досадной помехе, а как к одному из мощнейших и необходимейших средств нравственного самосовершенствования.

— Есть ли сейчас объективные препятствия для создания Общества защиты животных?

— Я считаю, что нет. Необходимы лишь некоторые организационные шаги, и учредительное собрание можно созывать хоть через две недели. Оно будет создано на широкой общественной основе, охватит все слои населения.

— Вот передо мной типографски отпечатанный билет № 076: «Приглашаем вас принять участие в работе учредительной конференции Московского общества защиты животных, которая состоится 16 февраля 1988 года в Октябрьском зале Дома союзов». Однако ведущий конференции с первых слов заявил, что собрание — не учредительное. Начались бурные дебаты, взаимные обвинения. Что же произошло?

— Два года назад группа видных ученых и деятелей культуры обратилась в Моссовет с просьбой о создании Московского общества защиты животных. Я ничего не знал об обращении, пока мне не позвонили из горкома КПСС и из Моссовета с просьбой возглавить оргкомитет. Я всю жизнь занимаюсь защитой природы и не согласиться просто не мог. Дела шли полным ходом, хотя я беспокоился, что оргкомитет не утвержден Моссоветом. Меня успокаи-

за жестокость по отношению к животным? Насколько мне известно, такой закон принят в развитых странах. Скажем, в Англии еще в 1822 году. У нас в России уголовное наказание за «причинение домашним животным напрасных мучений» было введено в 1871 году.

— Юристы разъясняют, что принятие такого закона — прерогатива союзных республик СССР. В семи из них такой закон уже принят, а РСФСР отстает и от Прибалтики, и от Средней Азии, и от Азербайджана. Конечно, мы будем добиваться, чтобы Россия приняла закон. Это даст возможность не только наказывать конкретных виновников, но и будет способствовать установлению более здорового нравственного климата.

— Многих владельцев собак интересует, куда идут взимаемые с них ежегодно деньги (в Москве — 15 рублей). Нельзя ли их направить в фонд создаваемого общества, чтобы использовать по назначению?

— По положению 85 процентов сбора поступает в жэки для создания и поддержания собачьих площадок, использование которых одобряют и владельцы собак, и остальные граждане,



вали — действительно, какие еще нужны доказательства заинтересованного отношения «отцов города», если для учредительного заседания предоставляется Октябрьский зал Дома союзов! Однако отсутствие формального утверждения фактически признанного оргкомитета послужило поводом к запрещению учредительной конференции. За несколько дней до нее меня вызвали в партком Академии наук, где присутствовали работник горкома партии А. Е. Степанов, заведующий ветеринарной службой Мосгорисполкома Н. Ф. Хорошилов, председатель секции охраны животных МГС ВООП профессор К. А. Семенова и председатель созданной осенью прошлого года секции защиты животных МГК ДОСААФ В. И. Максимова. Н. Ф. Хорошилов тут

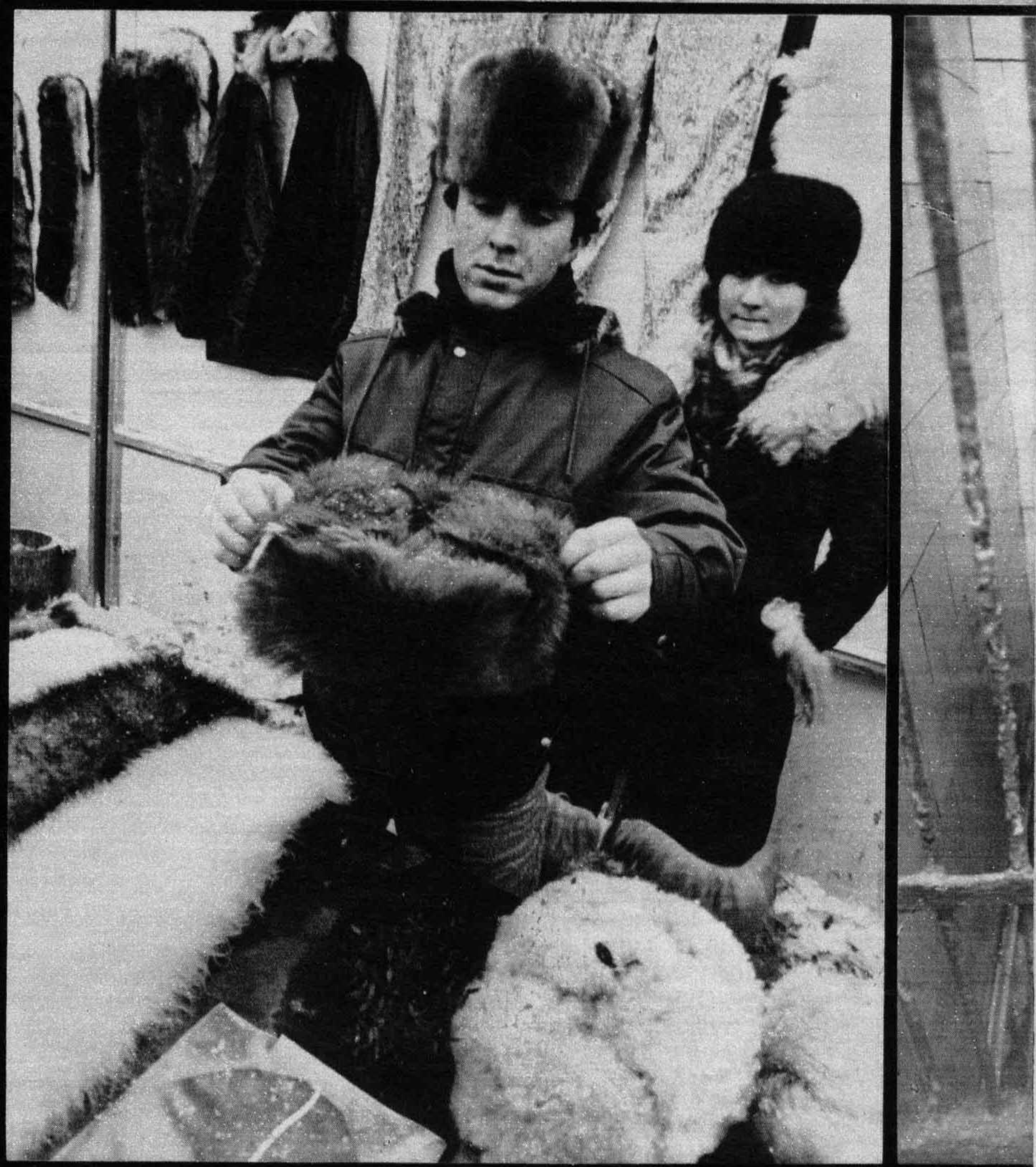
представлены секции К. А. Семеновой и В. И. Максимовой, между тем на конференции они, конечно, присутствовали), потому что московское общество нереально, а необходимо сразу всесоюзное, что оргкомитет, сплотивший сотни энтузиастов, никого не представляет... Подлинные мотивы В. И. Максимовой ясно выявились, когда, провалив нашу конференцию со словами о невозможности организовать общество в Москве, секция защиты животных МГК ДОСААФ создала свой точно такой же оргкомитет по организации Московского общества защиты животных. Совершенно очевидно, что уже подготовленное создание общества было сорвано в результате альянса испуганных представителей ветслужбы с амбициозными деятелями



же заявил, что ему (!) не нужно такое общество, раз оно собирается его контролировать, а К. А. Семенова и В. И. Максимова, видимо, увидели в зарождавшемся обществе не сотрудника, а соперника.

Вера Ивановна однажды в присутствии работников Моссовета заявила, что ей не нужно такое общество. Отказывалась с нами сотрудничать и К. А. Семенова. Теперь же мне было сказано, что оргкомитет не может проводить учредительную конференцию, потому что не соблюдены нормы представительства всех заинтересованных организаций (то есть не

ВООП и ДОСААФ, которые желают создать очередную «контору» со штатами, должностями, окладами и, главное, — руководить самим. Во всяком случае, вопрос о том, кто и чем будет руководить, занимает их куда больше деловых вопросов! В. И. Максимова, в частности, в чьей энергии я вовсе не сомневаюсь, собирается на деле помогать только породистым собакам, то есть — продолжать осуществлять прерогативы ДОСААФ. Это тоже дело нужное. Но при чем тут разговоры о милосердии, заботе о животных? И вот в результате сегодня дело страдает.

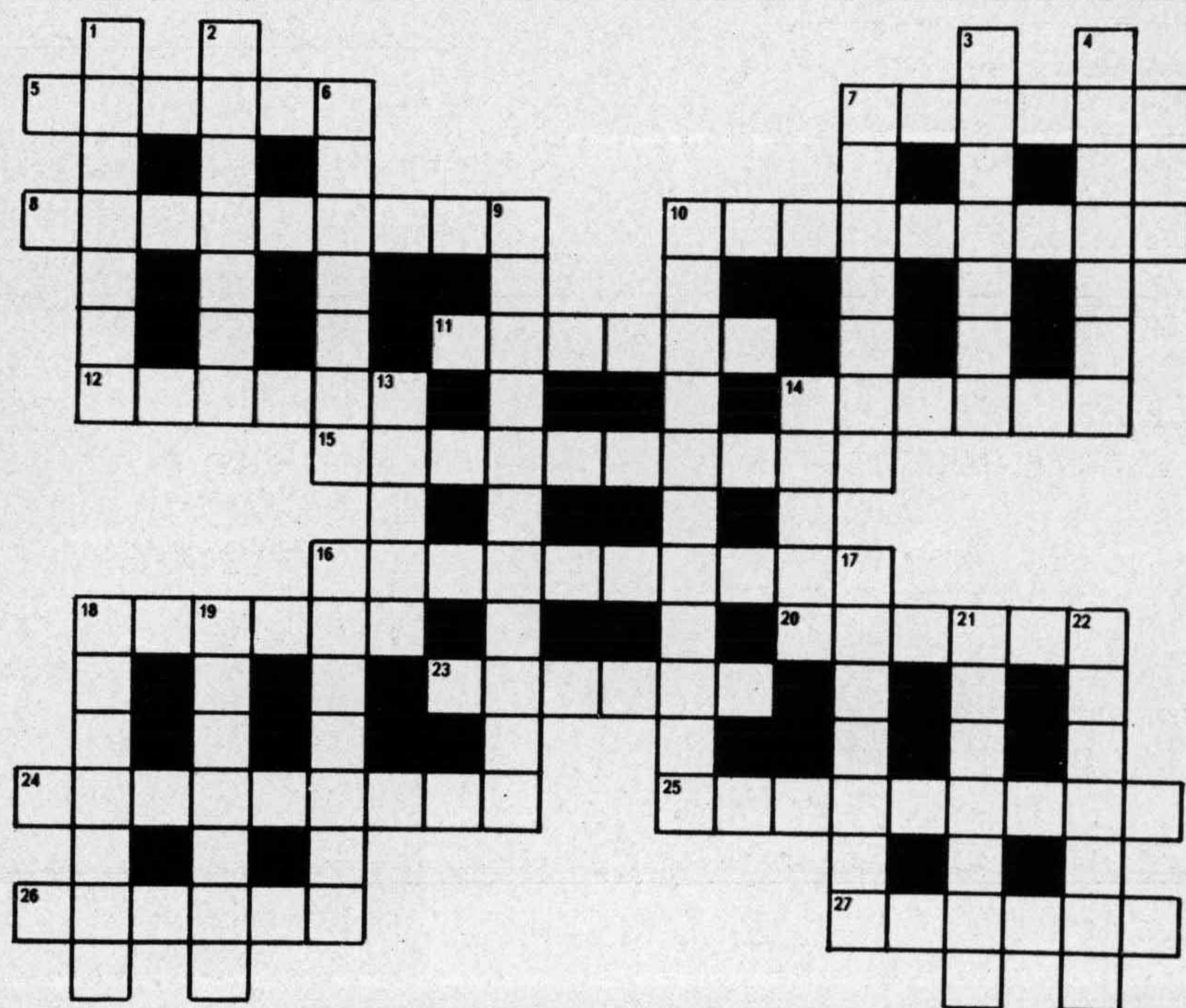




— На следующий после собрания день, собираясь писать репортаж, я поехал в Институт советского законодательства Минюста СССР, где проконсультировался с профессором В. А. Пертциком, человеком, непосредственно разработавшим правовую норму по созданию добровольных обществ в СССР. Оказывается, достаточно десяти человек, которые заявляют о своем желании создать новое общество, регистрируют в органах Советской власти оргкомитет и могут приступить к проведению учредительной конференции. Совершенно необязательно предварительно публиковать устав общества для всенародного обсуждения — это не Конституция и не законопроект. Оргкомитет и вовсе не обязан кого-либо предупреждать. Желает — присоединяйся, нет — не мешай. Вот юридическая позиция. И о нормах представительства до создания организации говорить бессмысленно, эта категория возникает при проведении очередных собраний уже существующего разветвленного объединения. На таких условиях в СССР создано уже примерно 1100 обществ различного характера.

— Но мы-то как раз разослали приглашения ста двадцати организациям Москвы, так или иначе связанным с проблемой, в том числе, конечно, в МГС ВООП и МГК ДОСААФ. И пришли 450 человек, полномочных представителей своих коллективов, готовые действовать в рамках общества немедленно. А что же теперь?

Вел беседу И. ТАРАСЕВИЧ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Средний регистр певческих голосов. 7. Русский художественный и музыкальный критик, историк искусства. 8. Высотное здание. 10. Категория в систематике растений и животных. 11. Благородный олень, обитающий в Забайкалье и на Дальнем Востоке. 12. Серия советских космических кораблей. 14. Действующее лицо в пьесе А. П. Чехова «Три сестры». 15. Человеколюбие, уважение к достоинству человека. 16. Сообщения, обмен сведениями между людьми. 18. Последовательное развитие событий в художественном произведении. 20. Литературный герой повести А. И. Герцена. 23. Советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. 24. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты. 25. Южное луковичное растение, разводимое в оранжереях и комнатах. 26. Бобовое растение. 27. Порт в Центральной Италии на Адриатическом море.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский физико-химик, академик. 2. Безрельсовый транспорт, движущийся за счет энергии, накопленной в маховике. 3. Роман Л. М. Леонова. 4. Опера П. И. Чайковского. 6. Ботаник, изучающий грибы. 7. Произведение равных сомножителей. 9. Картина народного художника СССР Б. И. Пророкова из серии «Вот она, Америка!». 10. Помещение со звуконепроницаемыми стенами, служащее для подготовки космонавтов. 13. Приток Волги. 14. Стенка, завершающая триумфальную арку. 16. Озеро в Новгородской области. 17. Периодически организуемый в определенном месте торг. 18. Боец Национальной гвардии, защищавшей Парижскую коммуну. 19. Ленинградский актер, Герой Социалистического Труда. 21. Город в Черниговской области. 22. Видоизменение, разновидность.

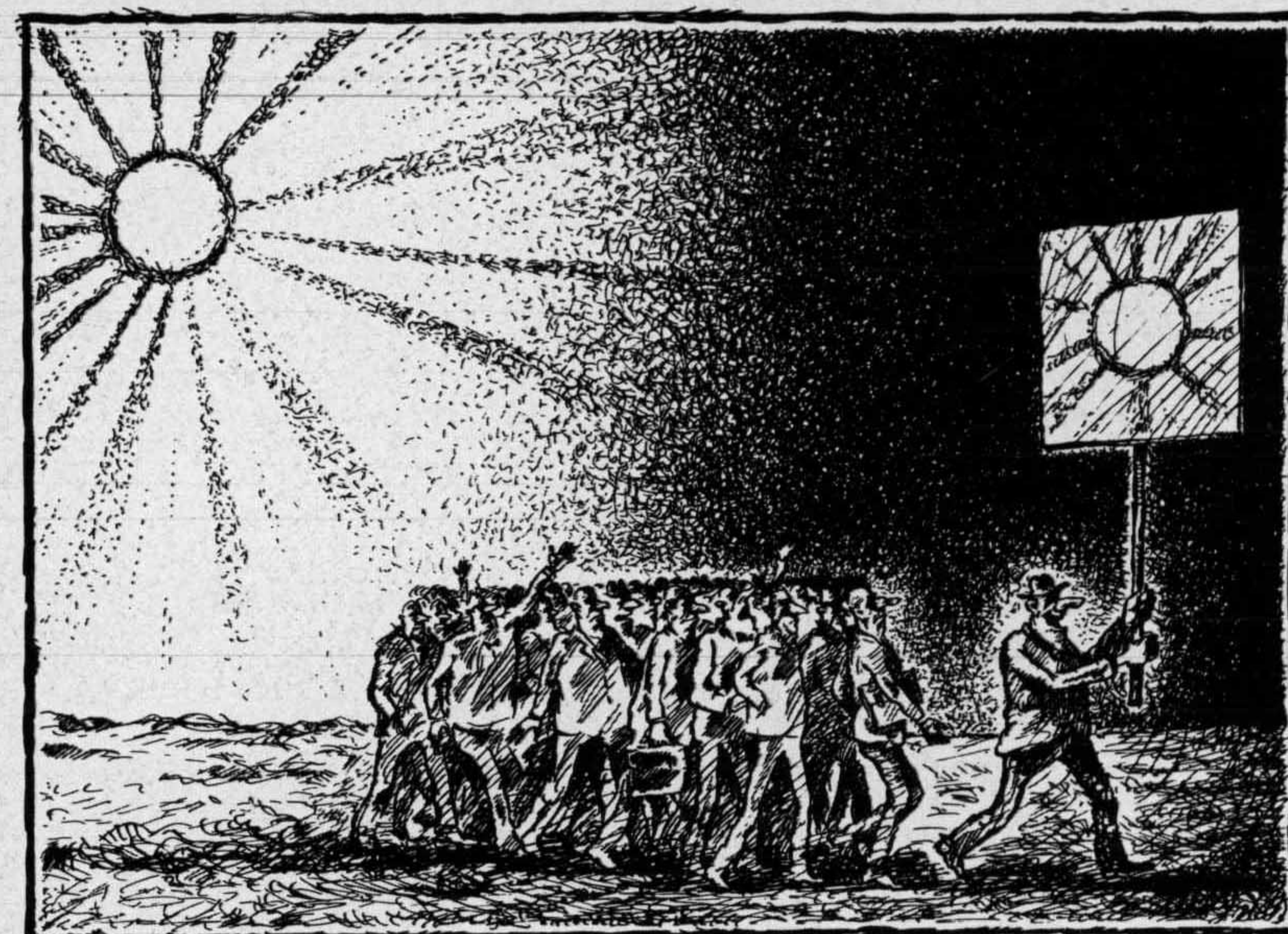
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 19

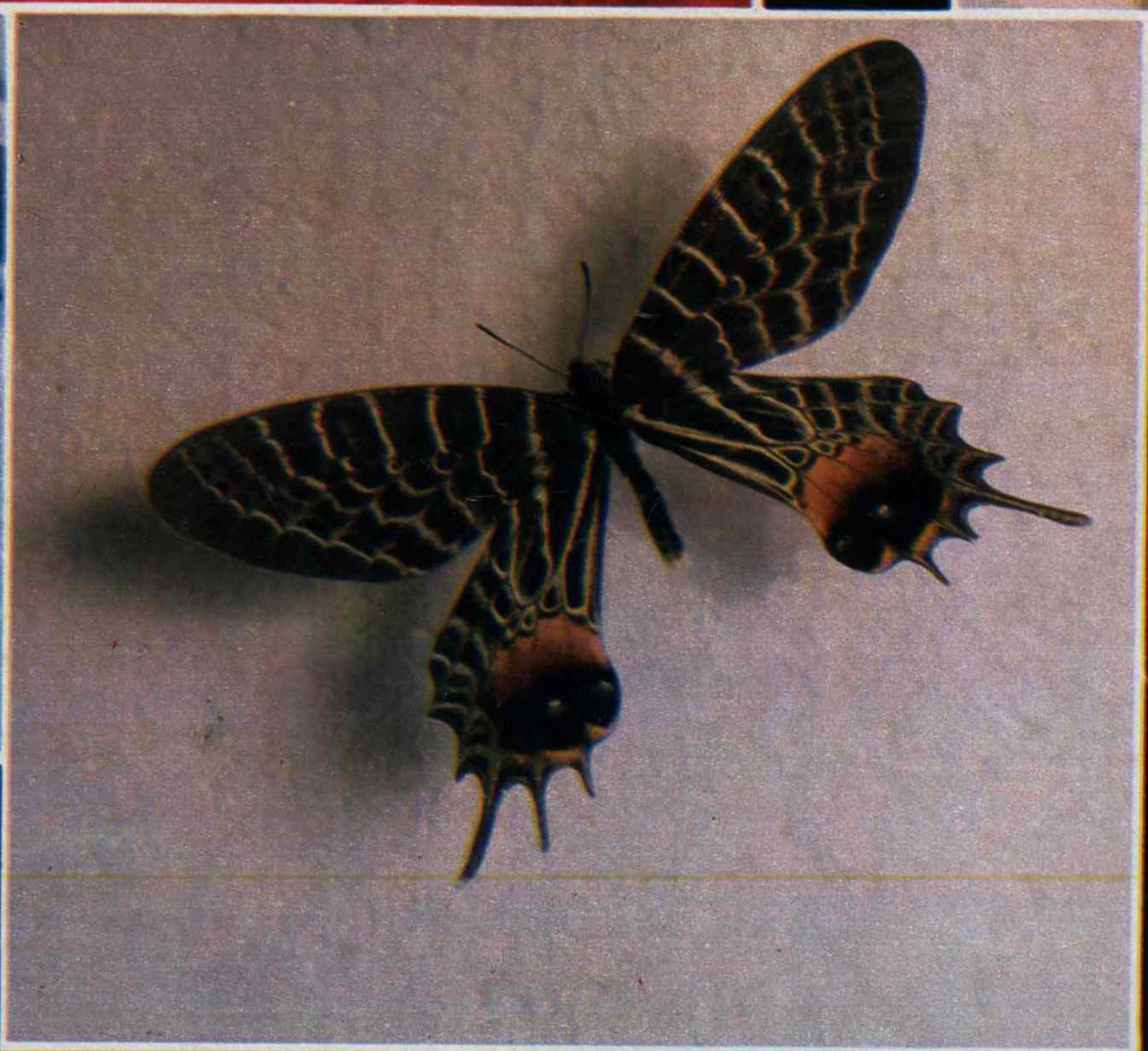
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Смоленск. 7. Магнето. 8. Европий. 9. Баян. 10. Букса. 12. «Конец». 14. Плакат. 16. «Маяк». 17. Край. 18. Москаленко. 19. Этна. 21. Леда. 23. Ямайка. 26. Орган. 28. Тиски. 29. Титр. 30. Симонов. 31. Антонов. 32. Оперетта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мотобол. 2. Антенна. 3. Стека. 4. Курок. 5. «Радуга». 6. Пинега. 11. Сакмара. 13. «Осколки». 14. Песня. 15. Тонна. 20. Теркин. 22. Диктор. 24. Матвеев. 25. «Куранты». 27. Нинбо. 28. «Татра».

НЕТ ПРОБЛЕМ?

Рисунок Игоря СМЕРНОВА





Кто и когда назвал бабочкой насекомое с крыльями, покрытыми пылью разнообразной окраски, знают немногие. Но то, что бабочки являются украшением лета, известно каждому. Пожалуй, редкий мальчишка не бегал в детстве за пестрой крапивницей или махаоном. Среди почти 140 тысяч различных бабочек, оби-

тающих на земном шаре, есть и бабочка пенелопа — особо ценный экземпляр в полуторатысячной коллекции хабаровчанина И. Г. Клыкова. Четыре лета провел Иван Георгиевич в Сучанских горах, ища с ней встречи. Повезло.

По соседству с дальневосточной красавицей разместились редчайшие экземпляры обитателей тропиков. Свою коллекцию бабочек экспонирует в местном краеведческом музее бывший артиллерист И. Г. Клыков.

ОГОНЁК

Фото
 Владимира
 КУЗНЕЦОВА